

МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ
ТАШКЕНТСКАЯ И УЗБЕКИСТАНСКАЯ ЕПАРХИЯ

Восток Свыше

ДУХОВНЫЙ,
ЛИТЕРАТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С 2001 ГОДА

ВЫПУСК
LIV

№ 3-4
июль-декабрь 2020

ТАШКЕНТ
2021



**По благословению
высокопреосвященнейшего
ВИКЕНТИА,
митрополита Ташкентского и Узбекистанского,
главы Среднеазиатского митрополичьего округа**

Главный редактор
Евгений АБДУЛЛАЕВ

Литературный редактор
Лейла ШАХНАЗАРОВА

Редакционный совет
Протоиерей Игорь БАЛУХАТИН
Протоиерей Сергей СТАЦЕНКО
Протоиерей Андрей ТУГУШЕВ
Валерий ГЕРМАНОВ
Роман ДОРОФЕЕВ
Татьяна КОТЮКОВА
Вадим МУРАТХАНОВ
Рубен НАЗАРЬЯН
Екатерина ОЗМИТЕЛЬ
Кирилл СУЛТАНОВ
Алексей УСТИМЕНКО
Юрий ФЛЫГИН

На обложках:

- Стр. 1:** Котлован под будущий Центр православного просвещения и культуры на территории Духовно-административного центра Ташкентской и Узбекистанской епархии.
- Стр. 2:** Святая преподобная Ангелина Сербская; Григорий (выше) и Стефан (ниже) Бранковичи (С. 6–13).
- Стр. 3:** Лида и Гриша Меньшиковы в костюмах, сшитых О. Фрибес (Фото нач. XX в.). Портрет О. Фрибес. (С. 30–112).

Восток Свыше. 2020, № 3-4 (LIV)
Издается с 2001 года

ISSN 2010-5568

... **Посетил нас Восток свыше,
просветить сидящих во тьме и тени смертной,
направить ноги наши на путь мира.**

Евангелие от Луки 1, 78-79

СОДЕРЖАНИЕ

СТИХОТВОРНЫЙ КАМЕРТОН

Инна МАКЕЕВА. Хождение по водам 5

СООБЩЕНИЯ. СОБЫТИЯ. ДАТЫ

Календарные страницы *главного редактора*

Действо любви. 500 лет преставления *преподобной Ангилины,
деспотисы Сербской (30 июля около 1520 года)* 6

Новостные страницы *иеромонаха Михаила (СТОЛЯРОВА)*

Итоги 2020 года: до строгого карантина, во время и после 14

ПРАВОСЛАВИЕ: МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ

Роман ДОРОФЕЕВ. Кем был по вере Афанасий Никитин? 19

ТУРКЕСТАНОВЕДЕНИЕ

«...Прежде чем учить народ, нужно самому у него поучиться».

Неопубликованные воспоминания о Владимире Наливкине.

Публикация, предисловие и комментарии *Татьяны Котюковой* ... 25

ПРОЗА

Ольга ФРИБЕС (И.А. ДАНИЛОВ). В тихой пристани.

Публикация, предисловие и примечания *Евгения Абдуллаева* 30

ЛУГ ДУХОВНЫЙ

О терпении. О тщеславии 113

Иерей Александр КОЛОТОВКИН. Таинства Церкви: Миропомазание 117

Евангельские страницы *протоиерея Сергея СТАЦЕНКО*

О непрестанной радости 121

Содержание (окончание)

ОБЩЕСТВО. ЛИТЕРАТУРА. ИСКУССТВО

Иерей Сергей КРУГЛОВ. «Царство Божие – здесь».
Избранные записи в Фейсбуке последних лет 126

Тема: Поэзия и Вера

«Тонкие материи требуют другой пристальности».
На вопросы ВС отвечает поэт Вера ЗУБАРЕВА 144

ИСКУССТВО ПАМЯТИ

Прот. Владимир ЗЕЛИНСКИЙ. Разговор с отцом (главы из книги) 151

Литературные страницы Вадима МУРАТХАНОВА

Светлый футболист 168

Авторы номера 171

Содержание журнала «Восток Свыше» за 2020 год 172

Информация для авторов 174



Инна МАКЕЕВА

Хождение по водам

«Придите все ко Мне», – и я пошла,
и за спиной трепещут два крыла –
Надежда, Вера.
Колеблема пучина подо мной,
колеблем звездный свод над головой
порывом ветра.

А впереди – едва волны касаясь,
спасительные руки простирая, –
Любовь неизреченная,
Сиянье невечернее...

Календарные страницы *главного редактора*

ДЕЙСТВО ЛЮБВИ

*500 лет преставления преподобной Ангилины, деспотисы Сербской
(30 июля около 1520 года)*

Он был нищ. Он, наследный правитель Сербии, правнук византийского императора Матфея, был нищ и бездомен. Но это было не самое горькое. Он, деспот Стефан Бранкович, был слеп. Вокруг него шла жизнь.

Лето и весну создал Господь,
как сказал Псалмопевец,
и дал им красоты многие:
птиц быстрых вольный полет,
и гор вершины,
и лугов обширность,
и полей простор,
и воздуха тонкого
дивных волн излияние...*

Он не видит вольный полет птиц.
Он не видит изумрудные вершины Златибора. Он не видит обширность лугов и простор полей под Смедерево.
Он – ничего – не – видит.

...и земли дары
и благоуханных цветов и трав;
а уж человека
обновление и веселье
кто описать бы мог?

Это из «Слова Любви», написал дядя его отца, Георгия Бранковича, – князь Стефан Лазаревич, в честь которого его и называли Стефаном. Между Стефаном и Георгием тогда война шла: обычное для сербских князей дело.

* Перевод Василия Соколова.

Но главной бедой были турки.

Битва на Косовом поле 1389 года была концом независимой Сербии – Сербска деспотовина стала вассалом турецких султанов. Зажатая между Османским царством и Венгерским королевством, она уже не имела своего твердого голоса.

Но Стефан Лазаревич отдалил окончательное падение Сербии, при нем она даже окрепла и процвела. Серебро, добываемое в рудниках Сребреницы и Ново Брдо, и искусная дипломатия, которую вел Стефан, сделали свое дело. Время его правления было спокойным – насколько в Сербии возможен покой. В Белград стекались художники и книгописцы, бежавшие от турецкого нашествия, и сам князь Стефан был искусный книжник и стихотворец.

Однако все это
и другие чудные дела Божии,
которые самый острозоркий ум
не может обозреть,
любовь превосходит.
И это не странно,
ибо Бог и есть Любовь,
как сказал Иоанн, сын грома.

Богат и даровит был Стефан Лазаревич. И Георгий Бранкович, правивший после Стефана, был еще богат. Построил новую столицу на стечении Дуная и Моравы – Смедерево.

А он, внучатый племянник Стефана Лазаревича, сын Георгия Бранковича – нищ и бездомен. Что же осталось у него? Любовь.

– Любовь есть мать всех благ, она одна содержит в себе все наши совершенства...

Она была его глазами.

Ее глазами он видит вольный полет птиц. Ее глубокими глазами он видит вершины гор и обширность лугов. Ее глубокими синими глазами он видит небо и тонкие излияния воздуха.

Ее имя означает Вестница.

Она приносит ему весть об этом мире. Она рассказывает ему, как горит по утрам роса на высокой траве. Она доносит ему, как выглядят люди вокруг, во что они одеты и как ходят. Сообщает, как выглядят места, где они останавливаются в своей бездомной и кочевой жизни.

Благодаря ее глазам он знает каждую комнату, каждую ступеньку, каждую трещину в стене. По вечерам он читает ее глазами Священное писание или Златоуста.

Помолившись, они ложатся, и он тихо целует ее глаза. Все, что у него осталось.

Его имя означает Венец.

У его дяди, Стефана Лазаревича, это был венец из поздних осенних роз. У него, Стефана Бранковича, это венец из терний, с длинными черными шипами.

В любви нет места обману.
Потому и Каин, любви чуждый,
сказал Авелю: «Пойдем в поле».

Он был сыном деспота Георгия Бранковича и греческой принцессы Ирины. «Проклятой Ирины», как ее называли в народе.

Его отец разрывался между турками с юга и Венгрией и Польшей с севера, примыкая то к одним, то к другим. Его мать строила крепости, облагая города тяжелой податью. Ее ненавидели – за эти подати, за греческие обычаи, за двух ее братьев, занимавших первые места в государстве.

Его сестра, Мара, была отдана за османского султана Мурада Второго и вошла в его гарем в 1435 году. Ей было девятнадцать лет, и она была хороша собой.

Темные времена переживал Православный мир. Восточная Римская Империя, презрительно именуемая латинянами «Византией», падет под ударами янычар, заключив перед этим позорную унию с папским престолом. Одно за другим рушатся православные царства на Балканах: Болгария, Валахия, Сербия... Русские княжества на севере сами едва освободились от ордынской власти.

Впрочем, никакого Православного мира и не было: православные государи сражались друг с другом, невзирая на общую веру. Когда в 1453 году турки осадят Константинополь, Георгий Бранкович направит им в помощь свои войска. Именно православные сербы, имея опыт в рудном деле, будут вести окопные и подрывные работы; без них неприступный город вряд ли бы удалось взять.

Европа раздроблена, Европа слаба.

Сербия, древняя православная Сербия, нежный и кровавый цветок Европы, угасает на глазах. Георгий пытался защитить страну от турок, но силы слишком неравны.

В 1439 году Мурад Второй, разгневавшись на Георгия, берет Смедерево и ставит правителем его сына, старшего брата Стефана – Григория.

Единственное изображение братьев сохранится в богато украшенной грамоте, выданной Георгием афонскому монастырю Эсфигмен, которому Бранковичи покровительствовали. Стефан и Григорий изображены на ней пригожими юношами в высоких шапках, вышитых алыми цветами.

Действительным правителем оставался Георгий; Стефан же и Григорий находились при Османском дворе – по сути, заложниками.

В апреле 1441 года Мурад перехватил переписку Григория с отцом. Григория и Стефана заковали в цепи и вывезли в Амасью, вглубь империи, чтобы Мара не знала, какую участь готовит ее муж для ее братьев.

8 мая 1441 года, через девять дней после Светлой Пасхи, Григория и Стефана ослепили раскаленным железом.

Стефан превратился в комок расплавленной боли, тьма затопила его.

Ему было шестнадцать лет.

Мара все же узнала. Она упала к ногам Мурада, рыдала и умоляла отменить приказ. Но когда гонец, посланный с отменой приговора, прибыл в Амасью, на месте глаз у Стефана и Григория уже были кровавые впадины.

Через три года братьев вернут на родину в обмен на турецких пленных.

Георгий Бранкович выбежит навстречу им. Он, конечно, все знал. Но увидев ослепленных сыновей, страшно закричит и бросится на землю; кто-то из свиты едва успеет подхватить его.

Григорий пострижется в монахи и остаток жизни проживет на Святой Горе Афон. Стефан останется в Смедерево; на лице он будет носить черную повязку.

Как сказал Давид: «Горы Гелвуйские!
Да не сойдет ни роса, ни дождь на вас,
ибо не сохранили вы ни Саула,
ни Ионафана!»

Она родилась почти в тот же самый день, когда его ослепили.

Его глухой стон, сквозь стиснутые зубы, слился с родовым стоном ее матери, Марии. Дочь назвали Ангелина.

Всего у Марии Музаки и Георгия Арианити, албанского князя, было восемь детей, и все – дочери.

Георгий Арианити успешно сражался с турками, помогая великому албанскому правителю и герою Скандербегу. За Скандербега он выдаст свою старшую дочь.

Все дочери Арианити получили домашнее образование, но Ангелину решено было отдать в монастырскую школу.

Как сказано в ее житии: «Если бы воспитали ее в доме отца, то она, превосходя всех умом и премудростью, вызвала бы зависть у своих сродниц и ровесниц... Дивились родители разуму ее и отдали учиться Божественным писаниям».

Так прошло ее детство и наступила первая юность.

Она стала еще более задумчивой, еще более склонной к уединению и чтению книг.

Юноши и юницы,
для любви созревшие,
возлюбите любовь,
но чисто и непорочно,
блюдя целомудрие и девственность,
коими наша природа
соединяется с Божественной.

В 1456 году Георгий Бранкович умер от раны, полученной в сражении с венграми. Правителем стал его младший сын – и младший брат Стефана – Лазарь, а регентом – его мать Ирина. Лазарь быстро отстранил мать от власти и стал так жестоко обращаться с ней, что ей пришлось бежать к туркам. Это не помогло: Лазарь успел нагнать ее и вернуть. Вскоре Ирина умирает. От меланхолии, как будет сказано в официальных хрониках. От яда, посланного Лазарем, как будет утверждать молва.

Лазарь ненадолго переживет мать. В 1457 году он получит известие о продвижении к пределам Сербии турецких ратей. Он бросается за помощью к венграм, но в ходе переговоров умирает. Сыновей у него и его супруги Елены Палеолог не было.

И тогда вспомнили о нем, о слепом Стефане, который все эти годы тихо жил в Смедерево.

Возник недолгий триумvirат. Елена Палеолог. Воевода Михаил Ангелович. И он, Стефан Бранкович, единственный законный представитель династии.

Но уже через год Елена устроила свадьбу своей дочери с сыном боснийского короля, который и занял сербский трон. Он, Стефан Бранкович, не держался за власть; быстро собрался и покинул Смедерево.

Больше в Сербию он не вернется.

Через год сербскую столицу захватили турки, и Сербска деспотовина перестала существовать. На четыре столетия сербы окажутся под турецкой властью.

Началось его странствие.

Венгерская Буда (часть нынешнего Будапешта), где его младшая сестра Катерина была замужем за местным вельможей.

Из Буды – вместе с сестрой – в Дубровник.

В 1460 году – в Албанию, где у него также была родня.

Ему было тридцать пять лет.

Ангелине же, дочери албанского князя Арианити, было девятнадцать.

Сватовство было недолгим. В начале 1461 года они были повенчаны, и Ангелина стала именоваться деспотисой.

Он не мог видеть ее лица. Когда они остались впервые наедине, он осторожно и ласково провел по нему ладонью.

Остро и быстротечно
действие любви,
всех добродетелей она выше.

Странствия Стефана не закончились.

В начале 1461 года, из-за опасности турецкого вторжения, он и Ангелина покинули Албанию и отправились в Венецию. Венецианцы приняли их хорошо; Стефан еще в отрочестве был причислен к их патрициату.

Во время пребывания в Венеции их посетил епископ Мантуи, Галеаццо Кавриани. «Невозможно представить себе человека более достойного, – писал он о Стефане. – Он высокого роста, лицо чрезвычайно серьезное и умное».

Венецианцы выделили Стефану заброшенный замок во Фриули, к юго-западу от Удине. В нем были церковь Святого Николая и несколько вспомогательных построек. Замок был большой, но ветхий. Семья жила в бедности, иногда получая помощь от Дубровника и Венеции.

Здесь у них родится пять детей. Иоанн, Георгий, Ирина, умершая в детстве, Мария и Милица.

Старший, Иоанн, унаследует титул деспота, будет победоносно сражаться с турками, щедро покровительствовать православным монастырям.

Георгий пострижется в монахи с именем Максим, станет митрополитом, прославится миротворчеством и строительством церквей.

Но это пока в будущем, которое он, Стефан Бранкович, видеть не мог. Он не мог видеть даже настоящего. Он видел его глазами Ангелины.

Она читала ему вслух книги. Особенно любила она Толкование Иоанна Златоуста на Евангелие от Матфея.

– Любовь есть мать всех благ, она одна содержит в себе все наши совершенства... – читала она, и он молча слушал.

Потом брал ее лицо в ладони и любовался ею – не видя ее. Так проходили дни.

– Любовь, имеющая основанием Христа, тверда, постоянна, непобедима. Кто так любит, хотя бы и терпел тысячу поражений за свою любовь, не оставит ее...

Он был нищ. Он был нищ, бездомен и слеп. А последние годы еще постоянно болел.

Лежа под тяжелыми одеялами, он тихо повторял: «Остро и быстротечно... действо любви... всех добродетелей она выше».

Осенью 1476 года, на пятнадцатом году их брака, он увидел сон. Ему приснилась Сербия, луга под Смедерево после быстрого и теплого дождя. Он увидел себя – молодого, зрячего и бегущего через мокрое поле. На другом конце поля стояли отец и мать. Они кричали, махали руками и звали его к себе.

Проснувшись, он долго молился. Потом позвал слугу и потребовал бумагу и чернила.

Он писал правителям Дубровника, прося их позаботиться после его смерти о семье.

«...Смиренно молю вас, ваши светлости, и препоручаю вам мою Ангелину и моих детей, Георгия и Мару, и Иоанна, перед Богом, и перед Пречистой Девой, и перед всеми святыми. Что вы сотворите с ними, то и Бог – с вами. У меня же нет ничего, что бы я мог завещать в моем убогом доме; ни золота, ни серебра, ни другого имущества, которое я мог бы оставить Ангелине и моим детям».

Наговорив письмо, он велел прочесть его Ангелине. Она прослушала молча. Что у нее выражалось на лице, он не видел, но знал.

В октябре 1476 года Стефан скончался.

Были рядом мы, один близ другого,
и телом, и духом,
но что разлучило нас –
то ли горы, то ли реки...

Горы, реки... Сколько их придется ей переживать? Она переживет его на срок четыре года. Все эти годы он будет рядом с ней. Она будет носить с собой его мощи, и они будут сохраняться нетленными.

Сначала в Венгрию, в Срем, куда она прибудет с детьми по приглашению венгерского короля в 1486 году. Затем в изгнание в Валахию. Затем снова в Срем, где ее сын, ставший митрополитом, построит Сретенский монастырь под Крушедом; там она упокоит останки Стефана. Там же примет монашеский постриг.

Постоянно нуждаясь, она будет щедро жертвовать на церковные нужды. Будет она помогать и афонским монастырям, как это делали предки ее мужа. Когда у нее самой не будет хватать на это средств, она обратится за помощью. Сначала к валашскому воеводе Иоанну Радулу. А затем и в далекое Московское княжество, ко князю Василию Третьему.

Впрочем, Василий был для Бранковичей не таким уж далеким: и его мать, Софья Палеолог, и вторая жена, Елена Глинская, приходились Ангелине родней.

Особенно тревожилась Ангелина за судьбу афонского Пантелеимонова монастыря. Когда-то в нем селились совместно и сербские, и русские монахи, но в ордынские времена приток русских насельников и ктиторийская помощь из Руси иссякли. «Смирена монахиня Ангелина, бывша деспотица» просила Василия возобновить над ним ктиторийство.

«Инши монастыри имают своего хтитора, некотори Иверского (грузинского) цара, а други Власкога (валашского) воеводу, а монастыр святого Пантелеимона иншого хтитора не има, котори жалует святы монастыр, тачию (только) твое царство».

Василий откликнется на письмо Ангелины и отправит на Святую Гору богатые дары; русское покровительство Пантелеимоновой обители и другим афонским монастырям будет возобновлено; имя деспотисы Ангелины по сей день будет поминаться в них с благодарностью. Позже князь пожертвует по ее просьбе и на строительство монастыря в Крушеде.

Она будет вышивать церковные ткани, украшая их золотыми нитями и жемчугами. Будет заказывать уцелевшим от турецкого нашествия книгописцам переписывание и украшение священных книг.

Она переживет обоих своих сыновей, Иоанна и Георгия (Максима), омоет

их слезами и погребет в Крушедоле. Вскоре их останки будут найдены нетленными, от них начнут происходить исцеления. Сама Ангелина упокоится там же, в 1520 году, и вскоре станет почитаться как святая, «мајка Ангелина» – мать Ангелина.

Через два столетия, в 1716 году, турки, уходя из Срема, сожгут монастырь. Но левая рука святой уцелеет; она и доныне хранится в заново отстроенном Крушедоле.

Он был Стефаном, последним правившим деспотом из рода Бранковичей. Правившим меньше года, а после многие годы скитавшимся на чужбине.

Она была Ангелиной, его женой, его сердцем, его глазами.

«Она ничуть не смущалась слепотой его, но очень его любила», сказано в ее житии.

Когда он отошел к Богу, ей показалась, что и она вдруг ослепла. Прикрыв глаза, она долго молилась. А потом, завершив молитву, вспомнила стихотворение, которое он часто повторял; так часто, что она тоже запомнила его. Утерев слезы, она подошла к окну и распахнула его...

Ветры да столкнутся с реками,
и те да отступят,
как перед Моисеем море,
как перед Иисусом судьи,
как перед ковчегом Иордан.

И мы да пребудем вместе
и увидимся вновь,
соединившись любовью
во Христе, Боге нашем,
слава ему с Отцом
и Святым Духом
во веки веков,
АМИНЬ.

Новостные страницы *иеромонаха Михаила (СТОЛЯРОВА)*

Итоги 2020 года: до строгого карантина, во время и после

2020 год, похоже, каждому запомнится пандемией коронавируса. Узбекистан в конце марта перешел на жесткие условия карантина: были закрыты все места скопления людей (кроме продуктовых рынков, магазинов и аптек) – школы, вузы, театры, кафе и рестораны, а также объекты религиозного значения, в числе которых оказались наши православные храмы. Поэтому события епархиальной жизни в минувшем году можно условно поделить на три части: до карантина, во время карантина и после снятия жестких карантинных мер.

До карантина

Важным и долгожданным событием стало освящение в Свято-Успенском кафедральном соборе Ташкента придела трех святителей – Василия Великого, Григорий Богослова и Иоанна Златоустого. Великий чин освящения совершили глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий и митрополит Омский и Таврический Владимир, управлявший Среднеазиатской епархией с 1990 по 2011 годы. Именно с благословения владыки Владимира был в начале 2000-х годов построен трехсвятительский придел.

В 2019 году, по благословию митрополита Викентия, стены и потолок храма были расписаны мастерами-иконописцами из Екатеринбурга под руководством Татьяны Федоровны Водичевой; были установлены также новые деревянные киоты. Освящение придела пришлось на 17 февраля, день памяти святого равноапостольного Николая, архиепископа Японского.

Несколькими днями ранее, 11 февраля, в кафедральный собор столицы Узбекистана был доставлен ковчег с частицей мощей святителя Спиридона Тримифунтского.

17 февраля в Духовно-административном центре епархии прошел Третий ежегодный форум православной молодежи Среднеазиатского митрополичьего округа. Форум был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. По сложившейся традиции, на форум приехали представители молодежных отделов приходов Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана и Таджикистана. С участниками форума встретились митрополит Омский и Таврический Владимир и митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий.

19 марта состоялось торжественное освящение двух монашеских обителей – Свято-Покровского женского монастыря в городе Дустабаде и Свято-Троице-Георгиевского мужского монастыря в городе Чирчике. На протяжении девяти месяцев в этих двух монастырях, расположенных в Ташкентской области, при активной поддержке правительства Республики Узбекистан, а также благотворителей, шла непрерывающаяся работа. Иконописцы из Москвы расписали возведенный в 2000-х годах храм Свято-Покровской обители. А в Свято-Троице-Георгиевском мужском монастыре был отреставрирован храм, построенный в конце XIX века, возведены купол с крестом, колокольня, водосвятная часовня, подсобные помещения и новый братский корпус.

Малый чин освящения монастырских храмов совершил митрополит Викентий в сослужении епископа Бишкекского и Кыргызстанского Даниила и духовенства епархии. На богослужениях присутствовали также представители правительства Республики Узбекистан, дипломатического корпуса, руководство местных хокимиятов, а также паломники из Ташкента и прихожане.

Жизнь во время карантина

С конца марта по 15 августа в Узбекистане были введены жесткие карантинные меры. Ввиду того, что прихожане остались без духовного окормления и без возможности участвовать в церковных таинствах, а некоторые – даже без средств к существованию, по благословию митрополита Викентия был предпринят ряд шагов:

- в социальном мессенджере «Telegram» была создана группа «Архипастырь и паства Ташкентской епархии» для духовного поддержания православной паствы правящим архиереем Ташкентской епархии (в дни карантина количество подписчиков этой группы составило около 1100 человек);

- Епархией, при поддержке посольства Российской Федерации в Узбекистане, предоставлявшего автотранспорт для священников, в Ташкенте по просьбе прихожан ежедневно совершались на дому Таинства Исповеди, Причастия и Елеосвящения;

- ввиду закрытых границ между областями в предпасхальные дни при поддержке российского посольства были созданы мобильные выездные группы для доставки свечей и пасхальной утвари в храмы в отдаленных регионах Узбекистана;

- в Ташкенте были организованы передвижные церковные лавки, доставлявшие верующим свечи, святую воду, просфоры, необходимую для домашней молитвы церковную утварь, литературу, а в дни Пасхи – освященные куличи и артос; передвижными лавками были охвачены восемь районов столицы, в которых проживает более всего православных христиан;

- оказывалась помощь нуждающимся продуктами питания и лекарствами (социальным отделом епархии совместно с православной молодежной инициативной группой «Твори Добро» и представительством Россотрудничества в Ташкенте было охвачено порядка 450 семей в столице и в Ташкентской области).

27 июня в конференц-зале Духовно-административного центра епархии при поддержке правительства Москвы прошла международная конференция «Святая сила Слова», посвященная Дню славянской письменности и культуры и Дню памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей словенских. Она была запланирована на май, но, ввиду карантинных мер, перенесена на более поздний срок.

На мероприятии в Ташкенте впервые был использован дистанционный формат – видеоконференцсвязь. Свои доклады представили участники из России: Василий (Фазиль) Давыдович Ирзабеков, филолог, писатель, директор Православного центра во имя св. Луки (Войно-Ясенецкого), а также доктор педагогических наук, профессор Кубанского государственного университета и Екатеринодарской духовной семинарии Андрей Александрович Остапенко.

Жизнь после ослабления строгого карантина

С ослаблением карантинных мер жизнь епархии постепенно начала входить в привычное русло. С 5 сентября верующие смогли ежедневно посещать храмы.

Основными в этот период стали епархиальные мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы. 22 ноября на территории Духовно-административного центра епархии прошли торжества по случаю юбилея Победы, главными гостями которых стали ветераны войны и жители блокадного Ленинграда, эвакуированные в Ташкент.

Перед началом праздничных торжеств на территории соборной площади Свято-Успенского кафедрального собора митрополит Викентий совершил панихиду по воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Затем на фонтанной площади перед кафедральным собором состоялись показательные выступления почетного караула Национальной гвардии Республики Узбекистан, а в конференц-зале епархиального управления прошел Фестиваль песен военных лет. По окончании концерта ветеранам войны и блокадникам были вручены подарки.

13 декабря в конференц-зале Духовно-административного центра прошло

праздничное мероприятие «Памяти солдата-освободителя», на котором был впервые показан снятый в Узбекистане документальный фильм «Дети войны» и прошла встреча со съемочной группой.

22 декабря там же прошло открытие выставки о вкладе духовенства и мирян Ташкентской епархии в победу в Великой Отечественной войне. Выставка была подготовлена сотрудниками архива епархии и состояла из архивных документов и редких фотографий. На открытии присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации В.Л. Тюрденев, руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане М. Вождаев, представители дипломатических миссий и культурных центров Ташкента, а также священнослужители и миряне епархии.

1 ноября в епархиальном духовно-административном центре состоялся торжественный выпускной акт Ташкентской духовной семинарии, первоначально запланированный на июнь, но перенесенный из-за карантина на более поздний срок. В 2019-2020 учебном году на подготовительном и четырех базовых курсах Пастырско-богословского отделения, трех курсах Катехизаторского и двух курсах Регентско-певческого отделений, на заочном секторе и экстернате в общей сложности проходили обучение 123 студента: 40 на дневном секторе ПБО, 13 – на экстернате, 29 – на заочном; 5 человек на дневном секторе Катехизаторского отделения, 17 – на заочном отделении; 7 – на дневном секторе Регентско-певческого отделения, 13 – на заочном.

6 декабря в епархиальном Духовно-административном центре прошла традиционная встреча с молодежью с особенностями развития, приуроченная ко Всемирному Дню инвалида. Мероприятие проведено с участием активистов из молодежного и социального отделов епархии. Гостям были вручены памятные подарки, сладости и теплые вещи. Участники Театра движения «Лик» показали фрагмент из готовящегося спектакля. Для девушек был проведен мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы, а для юношей организованы соревнования по шашкам, шахматам и нардам.

И, наконец, о хиротониях 2020 года. 14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, за Литургией после Евхаристического канона митрополит Викентий совершил диаконскую хиротонию студента третьего курса Ташкентской Духовной семинарии монаха Пантелеимона (Дорышева). 4 декабря, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, во Свято-Успенском кафедральном соборе в иерейский сан был рукоположен клирик Свято-Троицкого Никольского женского монастыря, выпускник Ташкентской семинарии диакон Игорь Сладков, а в диаконский сан – студент 4-го курса семинарии Александр Боготобин.

Большая часть духовенства епархии и трудящихся на приходах мирян переболели коронавирусной инфекцией, но, по милости Божией, без летальных исходов. Однако в конце года Среднеазиатский митрополичий округ понес утрату: 24 декабря на 87-м году жизни отошел ко Господу митрофорный протоиерей

рей Валентин Никонов. Отец Валентин Никонов был старейшим священником не только Бишкекской и Кыргызстанской епархии, но и всего нашего митрополичьего округа, более шестидесяти лет прослужившим у Престола Божия*. Вечная память.

Вот таким запомнится нам сложный 2020 год, год пандемии, которую Господь попустил для нашего вразумления и исправления духовной жизни.

* См. беседу с прот. Валентином Никоновым «Надо еще заслужить, чтобы нас “отцами” называли...» (ВС. 2016, № 1-2 (XL). С. 85-90.

Роман ДОРОФЕЕВ

Кем был по вере Афанасий Никитин?

За молитву святыхъ отецъ наших, Господи Исусе Христе, Сыне Божій,
помилуй мя раба Своего грѣшнаго Афонася Микитина сына...
Афанасий Никитин. «Хождение за три моря»

Фактически ни у кого из исследователей нового и новейшего времени не возникало сомнения относительно уникальности «Хождения за три моря» Афанасия Никитина (XV в). Повествование этого средневекового путешественника не только является единственным для того времени текстом, полностью вписывающимся в жанр светской травелогии¹, но и содержит в себе ценный материал для религиозоведческого анализа.

Известно, что в сочинении тверского купца, волею обстоятельств заброшенного на Индийский субконтинент, присутствует целый ряд персидских и тюркских фраз, слов и молитв – всего того материала, который П.В. Алексеев несколько неудачно назвал «мусульманским кодом»². Это дает простор для произвольной интерпретации того, кем именно осознавал себя Афанасий Никитин и как он определял свою религиозную принадлежность. На этот счет исследователи высказывают самые разнообразные, подчас диаметрально противоположные мнения.

Приведем некоторые из имеющихся мнений:

а) Никитин стал полумусульманином или вообще принял ислам (Р. Пиккио, Г. Ленхофф)³;

б) Никитин был и остался православным (Б.А. Успенский, Ю.В. Максимов)⁴;

с) Никитин внутренне отошел от христианской ортодоксии, и его взгляды можно охарактеризовать как «синкретический монотеизм, признающий критерием “правой веры” только единобожие и моральную чистоту» (Я.С. Лурье)⁵;

д) Никитин стал чем-то вроде тайного суфия, т.к. в тексте «Хождения» находится «мусульманская миромоделирующая структура», близкая к суфизму (П.В. Алексеев)⁶.

Все вышеперечисленные суждения, как представляется, имеют существенные недостатки. Все они, по преимуществу, рассматривают вопрос о религиозной самоидентификации Афанасия Никитина только в контексте противопоставления мусульманин – христианин и, по сути дела, игнорируют также имеющую место в тексте «Хожения» весьма яркую индуистскую составляющую. О ней и пойдет речь в этой заметке.

Нельзя не согласиться с тем, что персо- и тюркоязычные вставки «Хожения» имеют большое значение для выяснения религиозной идентичности Никитина. Конечно, часть из них носят вполне прагматический характер⁷, но некоторые отличаются религиозным содержанием, отмеченным скорее не христианской, а мусульманской маркировкой. Это и перечисление имен Божиих: *Олло* (перс. форма арабского Аллах), *Худо* (перс. Бог), *Данъиры* (тюркск. Тенгри – Бог), *Худо переводигирь* (перс. *Худо парвардигор* – Бог Промыслитель), *Олло акъбер* (арабск. *Аллаху акбар* – Аллах велик), *Олло акъ* (арабск. *Аллаху Хакк* – Бог-Истина), *Олло рагым* (арабск. *Аллаху ар-Рахим* – Бог милосердный)⁸.

Краткие молитвы, наполненные формулировками, не согласующимися с нормативным православным молитвословием: «Во имя Аллаха милостивого, милосердного» (*Смилна рахамъ рагым; бисмилна гирахамм прагым*); «Иисус дух Божий, мир Тебе» (*Иса рухоало заликсолом*); «Он есть Бог, Которому иного подобного нет, ведающий все тайное и явное. Он милостивый, милосердный» (*Хувомогулези, ляйляга ильлягуя алимул гяйби вашагадити; Хуарахману рагыму*)⁹. И так далее.

При отсутствии прямого, декларативного заявления самого Афанасия о перемене религии, приходится только предполагать, *какими именно* целями он руководствовался, внося в свою травелогию фразы, обладающие ярко выраженной мусульманской окраской.

Так, к примеру, Ю.В. Максимов считает, что многие из подобных формулировок, по сути, служили Никитину для благоразумного сокрытия своего православия в иноверном окружении¹⁰. С другой стороны, П.В. Алексеев эти же иноязычные слова и формулы истолковывает в качестве выражения Афанасием (сознательно или подсознательно) своих суфийских взглядов¹¹.

Хотя обе эти точки зрения имеют право на существование, наиболее правдоподобной представляется версия Ю.В. Максимова. Сам Никитин прямо указывает, что во время своего путешествия только *выдавал* себя за мусульманина и представлялся «бесерменьским» именем ходжа («хозя») Исуфъ/Йусуф Хорасани¹².

Следует учитывать, что «Хожение за три моря» – далеко не примитивная хроника торгового путешествия. В нем можно обнаружить не только вышеупомянутые иноязычные вставки, но и явную православную мирозерцательную структуру, и вполне оформленные индуистские фрагменты.

В отличие от иноязычных вставок, индуистские фрагменты в «Хожении» не столь часты и нагружены двойным смыслом. Но их значение для текста не

следует преуменьшать. На примере этих фрагментов мы можем наблюдать, как средневековый человек, оказавшись в совершенно непривычной для него реальности, преодолевает культурный шок и адаптируется к ее нормам, что, кстати говоря, вполне ему удается.

Затем, в этих фрагментах Никитин демонстрирует уникальную веротерпимость по отношению к религии, однозначно в то время определявшейся в качестве язычества. Взгляд Никитина на индуизм равно далек и от агрессивного обличения, и от игнорирования. Пережив культурный шок, вызванный столкновением с индийскими обычаями (в частности, манерой индийцев ходить полуголыми), Никитин начинает увлеченно фиксировать бытовые и религиозные особенности индийской жизни, отмечая при этом сходные моменты с собственным религиозным опытом. Молитву индуистов он именуется общему-сульманским термином «намаз», а ее направление определяет – как и у православных русских – на восточную сторону горизонта. «Индѣяны», пишет Никитин, молятся на восток, как русские: «а намазъ же их на востокъ, по-руськы»¹³.

Несмотря на неприятие некоторых индостанских обычаев, у Афанасия Никитина сложились довольно неплохие отношения с индийцами-индуистами. Знакомым индуистам он доверительно открывает свою религиозную принадлежность, прямо называя себя «исаяденіені» (персидск. *иса-динийа*), приверженцем Иисусовой веры, а также не скрывает от них и свое христианское имя – Офонасей/Афанасий. В свою очередь, индийцы сообщают ему разнообразные сведения о своей религии¹⁴.

Фактически, Никитин получил больше возможностей для исследования «индѣяньской вѣры», чем любой мусульманин. Однако поскольку вся информация воспринималась им сквозь собственные религиозно-этнические стереотипы, это подчас приводило к довольно своеобразным результатам.

Так, собственно индуизм был расценен Никитиным, со слов, как это ни странно, его же респондентов-индийцев, как религия, в центре которой находится поклонение первочеловеку Адаму: «да о вѣрѣ же о их распытах все, і оны сказывают: вѣруем въ Адама»¹⁵. Индуисты также объясняли Афанасию, или он так интерпретировал эту информацию, что *буты* – т.е. идолы богов – это только изображения Адама и его потомков («...а буты, кажутъ, то есть Адамъ и род его весь»)¹⁶.

По всей видимости, все это не вызывало у Никитина особого неприятия. Он даже совершил вместе с паломниками-индуистами долгое путешествие (скорее всего с торговыми целями) в город Парват (Шрипарвата), где посетил местный храм. Афанасий Никитин хотя и определяет его персидским пейоративным термином *бутхана* («дом идолов»), но описывает его архитектуру и совершающиеся здесь обряды исключительно в нейтральном ключе. Он с явным интересом записывает все, что имел возможность непосредственно наблюдать в парватской *бутхане*: «вѣнцы» с изображениями разных воплощений *бута*-Адама (человек со слоновым хоботом, человек с обезьяньим ликом, зверчело-

век), статую главного *бута* (скорее всего бога Шивы), каменные статуи иных богов и богинь, позолоченное изображение огромного вола (возможно, быка Нанди). Весь этот, исключительно «языческий», декор не вызывает у Никитина активного отторжения. Он даже сравнивает позу *бута* с аналогичной позой статуи христианского императора Юстиниана I («...да руку правую подн्याль высоко да простеръ, акы Устьянь царь Царяградскы»), а Парват, как паломнический центр, – с Иерусалимом и Меккой («...то их Ерусалимъ, а по бесерменьскыи Мякъкат»). Единственное, что смущает Никитина в осмотренной *бутхане*, так это обнаженность *бута* и прочих храмовых статуй¹⁷.

Сообщает Никитин и о внутренней неоднородности индуизма.

А вѣръ въ Индѣи всех 80 и 4 вѣры, а все вѣрують в бута; а вѣра с вѣрою ни пиеть, ни ясть, ни женится. А иныя же боранину, да куры, да рыбу, да яйца ядятъ, а воловины не ядятъ никакаа вѣра¹⁸.

Сообщение о «восьмидесяти и четырех верах» обычно воспринимают как указание на индийские касты, обособленные друг от друга эндогамией и жесткими пищевыми запретами. Но не следует забывать, что введенный европейскими религиоведами рубежа XVIII–XIX веков термин «индуизм» служит вывеской для весьма неоднородного конгломерата религиозных доктрин, верований, движений и организаций, а также этнических и этноконфессиональных групп. Возможно, именно эту множественность *хинду-дхармы* и имели в виду спутники Никитина, рассказывая ему о многочисленности индийских религий.

Содержание индуистских фрагментов «Хождения» не позволяет нам говорить о какой-либо негативной позиции Афанасия Никитина по отношению к этой религии. Даже если он ошибочно считал *хинду-дхарма* «поклонением Адаму» и не принимал некоторых индийских обычаев, то его подход к индуизму можно охарактеризовать как нейтральное любопытство. Ему, скорее всего, была интересна данная религия, но как-то критиковать ее или, наоборот, перенимать у индуистов отдельные элементы их вероучения он не собирался. Если же учитывать общий настрой межрелигиозных контактов в средние века, которые варьировались от активной конфронтации до вынужденного (но отнюдь не мирного) соседства, такая веротерпимость выглядит почти беспрецедентной.

Подобная жизненная позиция, вероятно, была обусловлена если не присущими ему чертами характера, то тем опытом, который он приобрел во время длительного пребывания в чужой этнической и религиозной среде. Такая терпимость позволяла Никитину не только сохранять в этой среде свою религиозную идентичность, но и частично воспринять культурные установки непривычного окружения.

Скорее всего, в споре о том, кем именно себя ощущал Афанасий Никитин, христианином или мусульманином, следует встать на сторону Б.А. Успенского

и Ю.В. Максимова. Никитин и по вере, и по первоначальному воспитанию оставался православным христианином. Об этом ясно говорят и его мучительные терзания из-за невозможности на чужбине участвовать в православных праздниках и держать посты, и отказ от двух предложений принять ислам¹⁹.

Однако по практическим причинам Афанасий Никитин был вынужден скрывать свою религиозную принадлежность под мусульманским именем Йусуф, а этническую – под *нисбой* Хорасани, т.е. хорасанец. Это не только позволило ему свободно вращаться в инорелигиозном обществе, но и открыло доступ к культуре мусульманского средневекового Востока. Многолетнее пребывание в исламской среде наложило неизгладимый отпечаток на мировоззрение Афанасия/Йусуфа. Он постится с мусульманами во время рамадана, использует мусульманские сакральные формулы, составляет молитвы на смеси персидского и тюркского языков²⁰.

Одним из последствий подобной инкультурации и стали знаменитые высказывания Никитина «правую веру Бог знает» и «а правая вера Бога единого знати, и имя Его призывати на всяком месте чисте чисту»²¹. Не отказываясь от собственной веры, Никитин оставляет за Божеством окончательное право признания той или иной религии как истинной.

Итак, религиозное самосознание Афанасия Никитина, в том виде, в каком оно раскрывается в тексте «Хожения», включает в себя несколько важных компонентов: а) православно-русскую этническую ментальность, б) природную или благоприобретенную толерантность и с) частично воспринятую им культуру мусульманского Востока.

В соответствии с этим, самоопределение Никитина в религиозном плане можно охарактеризовать как сохранение собственной православной идентичности, при включении в нее переосмысленных элементов мусульманской культуры. Учитывая эту особенность мировосприятия Никитина, на него, по нашему мнению, невозможно навесить ярлык «синкретического монотеиста», «крипто-суфия» или вообще – отступника от христианства.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Вплоть до Петровского времени подавляющее большинство русских травелогий относилось к жанру *проскинитариев* – описывало благочестивое хождение на поклонение христианским святыням.

² См.: Алексеев П.В. Мусульманский код «Хожения за три моря» Афанасия Никитина // Мир науки, культуры, образования. 2009. № 3 (15). С. 70–74.

³ См.: Пиккио Р. Древнерусская литература. – М.: Языки славянской культуры, 2002. С. 191; Лурье Я.С. О путях доказательства при анализе источников // Вопросы истории. № 5, 1985. С. 67–68.

⁴ См.: Успенский Б.А. Дуалистический характер русской духовной культуры (на материале «Хожения за

три моря» Афанасия Никитина) // Успенский Б.А. Избранные труды. Т. 1: Семиотика истории. Семиотика культуры. – М.: Гнозис, 1994. С. 268–272; Максимов Ю. Взгляд русского путешественника XV века на ислам // Сайт «Православие.Ру». 7 июня 2008 г. (URL: <http://www.pravoslavie.ru/put/4276.htm>)/).

⁵ См.: Лурье Я.С. Русский «чужеземец» в Индии XV века // Хожение за три моря Афанасия Никитина / Изд. подгот. Я.С. Лурье, Л.С. Семенов. – Л.: Наука, 1986. С. 77–78; отчасти – Лурье Я.С. Афанасий Никитин и некоторые вопросы русской общественной мысли XV в. // Хожение за три моря Афанасия Никитина. 1466–1472. Издание второе, дополненное и переработанное. – М.–Л.:

Изд-во АН СССР, 1958. С. 138. (Далее все ссылки и цитаты из «Хожения...» даются по этому изданию.)

⁶ Алексеев П.В. Указ. соч. С. 74.

⁷ См. например, сугубо практичные замечания Афанасия об индийских женщинах или о расценках на рабынь (Хожение за три моря... С. 14–15, 19–20, перевод С. 74–75, 79–80).

⁸ Хожение за три моря... С. 20, 23, 25, 29.

⁹ Хожение за три моря... С. 30, 89–90. Ср. коранический аят: «Он – Аллах, нет божества, кроме Него, знающий скрытое и созерцаемое. Он – милостивый, милосердный!» (Коран. 59:22).

¹⁰ См.: Максимов Ю. Взгляд русского путешественника...

¹¹ См.: Алексеев П.В. Указ. соч. С. 73.

¹² См.: Хожение за три моря... С. 17–18.

¹³ Хожение за три моря... С. 19.

¹⁴ «...И тут бых до Великого заговейна в Бедери и позняся со многими индѣяны. И сказах имъ вѣру свою,

что есми не бесерменинъ исяяденіені есмъ християнинъ, а имя ми Офонасей, а бесерменьское имя хозя Исуфъ Хоросани. И они же не учили ся от меня крыти ни о чемъ, ни о ѣствѣ, ни о торговле, ни о маназу, ни о иных вещех, ни жонъ своих не учили крыти». (Хожение за три моря... С. 17–18).

¹⁵ Хожение за три моря... С. 18.

¹⁶ Там же.

¹⁷ См.: Хожение за три моря... С. 18–19.

¹⁸ Хожение за три моря... С. 18.

¹⁹ См. там же. С. 15, 23.

²⁰ См. там же. С. 20, 25, 27, 30.

²¹ «Бог единъ, то Царь славы, Творецъ небу и земли. <...> Такова сила султана индѣйскаго бесерменьскаго. Маметъ дени іаріа [а Магометова вера еще годится], растъ дени Худо доносит – а правую вѣру Бог вѣдает. А праваа вѣра Бога единого знати, и имя Его призываети на всяком мѣстѣ чистѣ чисту». (Хожение за три моря... С. 20, 27).

«...Прежде чем учить народ, нужно самому у него поучиться»

Неизданные воспоминания о Владимире Наливкине

Публикация, предисловие и комментарии Татьяны КОТЮКОВОЙ

В 2015 г. был издан сборник, авторы-составители которого предприняли попытку соединить в одной книге несколько научных жанров: переиздание известных работ выдающегося исследователя Туркестанского края Владимира Петровича Наливкина, осмысление его наследия, публикацию архивных документов и личной переписки¹.

Но муза Клио продолжала делать пусть и небольшие, но такие важные для понимания личности Владимира Петровича, подарки.

Как это нередко бывает, когда сборник был уже готов, удалось выявить две ранее не публиковавшиеся рецензии на работу В.П. и М.В. Наливкиных «Очерк быта женщины оседлого туземного населения Ферганы»: профессора Н.И. Веселовского и временно исполнявшего обязанности начальника Копальского уезда Семиреченской области Н.А. Лебедева².

В 2019 г., благодаря вновь полученной после долгого перерыва возможности поработать с документами из личного фонда В.П. Наливкина в Национальном архиве Республики Узбекистан (НА РУз), нам посчастливилось обнаружить воспоминания внучки Владимира Петровича З. Наливкиной. (К сожалению, подробностей ее биографии и даже имени выяснить не удалось.)

Вообще в НА РУз сохранился комплекс воспоминаний о Наливкине членов его семьи. Среди них два самостоятельных текста: внука, Ивана Борисовича, а также дочери – Натальи Владимировны и снохи – Натальи Васильевны.

Эти воспоминания, датируемые 1957–1959 гг., впервые были опубликованы в 2010 г.³ и вошли в сборник «Полвека в Туркестане». Текстологически они представляют собой исходные наброски, легшие в основу больших воспоминаний, работу над которыми И.Б. Наливкин завершил лишь к 1984 г. Именно этот текст, после некоторой редакторской обработки С.П. Бородина, автора знаменитой исторической трилогии «Звезды над Самаркандом», был издан в 2001 году⁴.

В воспоминаниях внука, метко назвавшего своего деда «антиподом человека в футляре», а также дочери и снохи Наливкина большое внимание уделяется общественно-политической деятельности Владимира Петровича. Значительное место отведено его су-

«...Прежде чем учить народ, нужно самому у него поучиться»

пруге, Марии Владимировне. Однако как об исследователе о Наливкине не сказано практически ни слова.

Вообще воспоминания близких, окружавших Наливкина долгие годы, ярко раскрывают его личностные характеристики, человеческие слабости и пристрастия, что помогает лучше понять и принять этого неординарного человека.

Дочь и сноха вспоминали, что некоторые сохранившиеся после Владимира Петровича письма, рукописи и книги были переданы в республиканский архив по его просьбе. Однако часть материалов для своих исследований взяли Н.Г. Маллицкий и находившийся в Ташкенте в эвакуации член-корреспондент АН СССР А.Ю. Якубовский, сын самого первого биографа Владимира Петровича, Ю.О. Якубовского⁵.

А.Ю. Якубовский не оставлял мысли написать работу о В.П. Наливкине и, по его собственному признанию, накопил огромный материал. Возможно, работа с личным архивом А.Ю. Якубовского, хранящимся в Институте истории материальной культуры РАН в С.-Петербурге, позволит этот материал обнаружить и продолжить работу по изучению жизни и творчества Владимира Петровича Наливкина.

Интересно сравнить имеющиеся в нашем распоряжении воспоминания ближайших родственников Владимира Петровича. В них, как и в биографической литературе, есть серьезные расхождения относительно места и времени рождения Наливкина. И.Б. Наливкин и Б.В. Лунин сообщают, что ученый родился в Калуге 15 июля 1852 г.⁶, а в воспоминаниях дочери и снохи Владимира Петровича мы встречаем дату 15 июля 1855 г.⁷. Другие источники утверждают, что это произошло 25 февраля⁸ или 26 марта 1852 г. в Твери⁹. В документах¹⁰ и публикуемых ниже воспоминаниях внучки¹¹ как возможное место рождения Наливкина фигурирует Казань.

Воспоминания дочери, снохи и внучки демонстрируют нам определенные разночтения и относительно года женитьбы Владимира Петровича на Марии Владимировне Сартори: 1875-й или 1876-й¹². Однако вероятнее всего, что годом женитьбы нужно считать 1876-й, поскольку все родственники сообщают, что буквально сразу после этого события Наливкин был вызван в полк в связи с началом Кокандского похода.

Ниже мы публикуем воспоминания о Владимире Петровиче его внучки, датированные 1964 годом. Анализ текста свидетельствует, что и он был использован Иваном Борисовичем для итогового варианта воспоминаний 1984 г.

Воспоминания, написанные З. Наливкиной на склоне лет, небольшие и незатейливые, но по-человечески трогательные, с одной стороны, пересказывают вариант классической, хорошо известной биографии Наливкина, и здесь чувствуется, что З. Наливкина пользовалась уже имевшейся к тому времени литературой о ее деде (работами Ю.О. Якубовского, Б.В. Лунина и др.), а возможно, имела доступ к дореволюционной периодике, особенно в части, связанной с выборами Владимира Петровича депутатом Государственной думы.

С другой стороны, воспоминания внучки обогащают классическую биографию ученого деталями, помогающими нам спустя столетие приблизиться к пониманию поступков и решений Наливкина-человека, Наливкина-политика, Наливкина-исследователя.

Одним из первых завоевателей Туркестанского края был мой дедушка Владимир Петрович Наливкин, который благодаря прекрасному знанию восточных языков приобрел большую известность и уважение среди местного населения. Родился он в городе Казани в 1852 г. Был единственным сыном и рос с тремя сестрами. Отец его был военным, участвовал в турецкой кампа-

«...Прежде чем учить народ, нужно самому у него поучиться»

нии, из которой явился с простреленной папахой и буркой; они хранились в сундуке в качестве фамильной святыни. Вырос Владимир Петрович в военно-помещичьей среде. Окончил Петербургскую военную гимназию, а в 1871 г. – курс 1-го Павловского военного училища. Девятнадцати лет был выпущен и зачислен в Оренбургский казачий полк. Будучи двадцатиоднолетним юношей, принимает участие в Хивинском походе, где получил отличие за храбрость и был награжден Анной 4-й степени.

В 1875 г. уехал в отпуск и женился на Марии Владимировне Сартори. Вскоре после отпуска получил назначение участвовать в Кокандском походе. Провожая его в поход, мать просила на время забыть молодую жену и помнить о долге, не покрывать себя позором, которого она не переживет. Еще маленького мать учила его шить, говоря, что это будет необходимо для офицера в походе.

По окончании похода Владимир Петрович работал старшим помощником уездного начальника Наманганского уезда. Воспитанный в традиции военной славы, прибыв в Туркестан, Владимир Петрович жаждал военных подвигов, но один эпизод его глубоко потряс и вызвал отвращение к войне. Война, которую он любил, стала ему противна. Отряд Скобелева, в котором находился Владимир Петрович, подходил к Ура-Тюбе. В это время бежал сарт с ребенком на руках, на него напали два казака. С криком: «Не смейте трогать!» – Владимир Петрович бросился к сарту, но было уже поздно. Один из казаков махнул шашкой – и из рук обезумевшего и оторопевшего сарта выпал ребенок с рассеченной головой. В ту минуту Владимир Петрович много пережил, все было так ужасно, мерзко и дико, что он решил уйти из строя. Кругом лежали целые ворохи трупов обезображенных мужчин, женщин и детей, тут же лежала застреленная красивая молодая сартянка. Какой позор, думал Владимир Петрович, так зверски избивать и производить атаку на безоруженных (так! – *Т.К.*) мирных туземцев. Как было бы хорошо надеть халат, уйти в народ, сблизиться с ним, изучить язык, быт, нравы и обычаи и быть защитником его интересов...

Несмотря на уговоры Скобелева не уходить из строя, эта мысль им была осуществлена в мае 1878 г. Владимир Петрович ушел в отставку, купив участок земли и начав новую жизнь с молодой женой среди туземного населения в кишлаке Нанай Наманганского уезда¹³. Ушли от шумной прежней жизни, лишив себя всех удобств, надев туземные одежды. Владимир Петрович и Мария Владимировна обладали большими лингвистическими способностями, изучили сартовский и персидские языки. За свою шестилетнюю жизнь в кишлаке они написали «Очерк быта туземной женщины Ферганы», русско-сартовский словарь и сартовско-русский. За свои труды они были награждены медалью от Географического общества. «Очерк быта женщины Ферганы» был переведен на французский язык, за что была получена медаль из Парижа.

Родившиеся <у них в Нанае> сыновья не знали русского языка. В летний период семья вместе с туземным населением перекочевывала в горы. Жизнь в

«...Прежде чем учить народ, нужно самому у него поучиться»

кишлаке была нелегкая. Владимир Петрович также занимался исследованием сыпучих песков Ферганы.

В 1884 г. его пригласили на должность младшего чиновника особых поручений при военном губернаторе Ферганской области, а в 1885 г. он был переведен в Ташкент в распоряжение Туркестанского генерал-губернатора. Благодаря своим знаниям был назначен заведовать русско-туземными училищами, кроме того преподавал в семинарии местные наречия. Был назначен председателем комиссии по переводу Положения об управлении Туркестанского края на сартовский язык. Первые курсы персидского и сартовского языка были поручены Владимиру Петровичу. Участвовал в открытии русско-туземных школ в Сырдарьинской, Самаркандской и Ферганской областях. В 1896 г. был инспектором училищ в Самаркандской области. В этот период им было написано руководство по изучению сартовского и персидского языка и истории Кокандского ханства. Изучал он также древнееврейский язык.

В 1900 г. ему предложено было принять дипломатическую переписку. В 1901 г. был назначен помощником военного губернатора Ферганской области, но не поладил с начальством и был отозван в распоряжение туркестанского генерал-губернатора. В 1905 г. работал в комиссии по ревизии хозяйств Ташкентской городской управы. В 1906 г. вышел в отставку и поселился в Ташкенте. Читал лекции по мусульманскому праву и сартовскому языку.

Благодаря своему знанию края и уважению к туземному населению Владимир Петрович приобрел заслуженную известность, считал, что быть полезным можно тогда, когда знаешь язык и обычаи населения, что прежде чем учить народ, нужно самому у него поучиться.

И вот в 1907 г., как старого туркестанца, прекрасно знакомого с нуждами населения, и глубоко образованного человека, не принадлежащего ни к какой партии, Владимира Петровича избирают во вторую Государственную думу. «Я, дворянин, – говорил Владимир Петрович, – еду в Думу, чтобы отречься от дворянства и служить народу, но не сословиям. Россия должна быть демократична».

Перед отъездом в Петербург он проводил беседы с избирателями в здании цирка. Проводы были очень трогательны. На вокзале собралось много народу. Вагон, в котором уезжал Владимир Петрович, был украшен красными флагами. Поезд отошел под пение «Марсельезы» – «Отречемся от старого мира», – но был вынужден снова остановиться из-за большого скопления народа. В Петербурге Владимира Петровича вынесли на руках. В своей речи в Думе он бросил тяжкое оскорбление по адресу царского правительства. За это был вызван на дуэль и лишен пенсии, но от дуэли отказался.

<...> Владимир Петрович писал статьи в газету «Русский Туркестан», «<Мои> воспоминания о Скобелеве» и «Из казачьего и не казачьего прошлого», добывая этим себе пропитание. Последним его капитальным, бесценным трудом был сартовский словарь. В свободное от умственных занятий время

«...Прежде чем учить народ, нужно самому у него поучиться»

его можно было видеть на огороде, в простой одежде, с кетменем в руках, или с ружьем на охоте.

Владимир Петрович создал целое поколение учителей, внушив им уважение и любовь к туземцам. Наиболее выдающиеся из них – Михаил Степанович Андреев¹⁴, который в молодости по рекомендации Владимира Петровича был личным секретарем нашего посла Половцева¹⁵ в Индии, и преподаватель П. Кузнецов¹⁶.

О Владимире Петровиче писал Ленин, Лев Толстой интересовался его жизнью. Но вот грянул долгожданный им гром революции. Совершилось то, чего так жаждал и ждал Владимир Петрович, который все свои силы молодости отдал на служение народу. Его избирают членом Временного правительства. Ожидавший революцию бескровной, то есть эволюцию, – Владимир Петрович не вынес кровопролитий и 20 января 1918 г. покончил с собой. Гроб с телом под пение вечной памяти проводили на кладбище.

13 апреля 1964 г.

З. Наливкина

НА РУз. Ф. 2409. Оп. 1. Д. 12. Л. 1–6. Рукопись с автографом.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Полвека в Туркестане. В.П. Наливкин: биография, документы, труды / Ред.-сост.: С.Н. Абашин, Т.В. Котюкова и др. – М.: Издательский дом Марджани, 2015.

² См.: «Очерк быта женщины оседлого туземного населения Ферганы» В.П. и М.В. Наливкиных. Неопубликованные рецензии [публикация Т.В. Котюковой] // Восточный архив. 2016. № 1. С. 62–66.

³ Антипод «человека в футляре». Воспоминания о В.П. Наливкине [публикация Т.В. Котюковой] // Восточный архив. 2010. № 1 (24). С. 76–89.

⁴ Наливкин И.Б. Имя твое – учитель: повесть о В.П. Наливкине, русском патриоте, казаке, воине, ученом, просветителе, педагоге, писателе, революционере, государственном и общественном деятеле, написанная по документальным воспоминаниям его внуком. – Омск: Издательство ОмГПУ, 2001.

⁵ Якубовский Ю.О. Владимир Петрович Наливкин. Член Государственной Думы и его Туркестанское прошлое: Краткий биографический очерк. – Ташкент: [б. и.], 1907.

⁶ См.: Луниин Б.В. Еще одна замечательная жизнь // Звезда Востока. 1990. № 9. С. 112–118; Наливкин И.Б. Указ. соч.

⁷ НА РУз. Ф. Р-2409. Оп. 1. Д. 7. Л. 1.

⁸ См.: Якубовский Ю.О. Владимир Петрович Наливкин. Член Государственной Думы и его Туркестанское

прошлое. – Т., 1907. С. 55; НА РУз. Ф. И-1. Оп. 33. Д. 313. Л. 18.

⁹ НА РУз. Ф. И-19. Оп. 4. Д. 741. Л. 65об.

¹⁰ Там же. Ф. Р-2409. Оп. 1. Д. 1. Л. 18.

¹¹ Там же. Д. 12. Л. 1.

¹² Там же. Д. 7. Л. 1; Д. 12. Л. 1.

¹³ Ныне – в Янгикурганском районе Наманганской области Узбекистана.

¹⁴ Андреев Михаил Степанович (1873–1948) – русский и советский востоковед, член-корреспондент АН СССР.

¹⁵ Половцев Александр Александрович (младший) (1867–1944) – русский дипломат. В 1896 г. командирован в Ташкент для изучения состояния и задач переселенческого дела. С 1898 г. состоял дипломатическим чиновником при Туркестанском генерал-губернаторе. В 1906–1907 гг. был генеральным консулом в Бомбее.

¹⁶ Возможно, речь идет о художнике Павле Варфоломеевиче Кузнецове (1878–1968), который в 1912–1913 гг. совершил поездку по Средней Азии. Под впечатлением этой поездки было написано несколько серий картин. В воспоминаниях внука так же фигурирует некий П. Кузнецов, перечисляемый в одном ряду с Ю.О. Якубовским и В.Л. Вяткиным. Это значит, что он был человеком как минимум известным. С другой стороны, П. Кузнецов мог быть и учеником Наливкина.

Ольга ФРИБЕС (И.А. ДАНИЛОВ)

В тихой пристани

Публикация, предисловие и примечания Евгения Абдуллаева

28 сентября 1900 года Чехов писал Горькому из Ялты:

Милый Алексей Максимович, купите в Нижнем, если есть, или выпишите книжку некоего Данилова И.А. «В тихой пристани» и прочтите там средний рассказ, написанный в форме дневника. Непременно прочтите – и напишите мне, в самом ли деле эта вещь добропорядочная, как мне показалась.

И уже завершив письмо, снова вернулся к заинтересовавшей его книге:

«В тихой пристани» умная вещь. Только не следовало бы ее в виде дневника писать. Впечатление оставляет крупное. Во всяком случае не стану забегать, прочтите сами*.

Рассказ, точнее повесть, «В тихой пристани», привлекший внимание Чехова, был написан почти забытой ныне писательницей Ольгой Фрибес, которая и скрывалась под псевдонимом «И.А. Данилов».

Ольга Александровна Фрибес (1858–1933) родилась в Петербурге в многодетной семье. Отец ее, Александр Викентьевич Фрибес, обрусевший поляк, служил в Статс-Секретариате по делам Царства Польского; мать, Евгения Николаевна Кучаева, была детской писательницей**.

Ольга Фрибес была редактором и издательницей иллюстрированного сборника «Улей», сотрудничала в журналах преимущественно консервативной ориентации: «Гражданине» и влиятельном «Русском вестнике». В четвертом и пятом номерах «Русского вестника» за 1894 год и вышла ее повесть «В тихой пристани».

* Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. – М.: Наука, 1974–1983. Т. 9. 1980. С. 126.

** См.: Соболев Л. Ольга Александровна Фрибес и ее автобиография // Замечательное шестидесятилетие. Ко дню рождения Андрея Немзера / Под ред. А. Новикова. В 2-х т. – М.: Издательские решения. Т. 2.

Занимаясь литературным трудом, Ольга Фрибес была близко знакома со многими выдающимися литераторами конца XIX – начала XX веков: Николаем Лесковым, о котором оставила воспоминания* ; Корнеем Чуковским, который, судя по сохранившейся переписке, относился к ней с большим уважением, хотя и пенял ей на отрицательное отношение к Толстому:

...Мне всегда было странно, как такая большая духовность и душевность могут в Вас уместиться с так называемым «черносотенством». <...> Как могли Вы вместе с «Русским Знаменем» кричать Толстому «анафема»**.

С «Русским знаменем», газетой «Союза русского народа», Ольга Фрибес не сотрудничала – но, как верующий человек, не могла принять религиозную позицию Толстого.

Многолетняя дружба связывала Фрибес с Василием Розановым. Розанов был автором нескольких рецензий на ее сочинения. Она была крестной матерью сына Розанова, Василия, родившегося в 1899 году. В фонде Розанова в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ, Ф. 419) хранятся 72 ее письма писателю, которые охватывают период с 1899 по 1916 годы***.

Однако самые теплые отношения сложились у писательницы с известным писателем и публицистом Михаилом Осиповичем Меньшиковым (1859–1918). Они познакомились в 1898 году в доме поэта Якова Полонского. Меньшиков высоко ценил прозу Фрибес; именно он в 1898 году, когда «В тихой пристани» вышла отдельным изданием, отправил ее Чехову:

Посылаю Вам на днях обещанную книжку Данилова «В тихой пристани». При случае черкните, какое впечатление она произвела на Вас. Очень свежий талант****.

А в «Искусстве хорошего тона» (1912) даже сравнивал писательницу с Горьким – причем, не в пользу последнего:

Совсем другого круга герои его антипода, г. Данилова. В той же самой России, которую г. Горький изобразил в виде государства каких-то апашей и хулиганов, – г. Данилов нашел множество людей порядочных, скромных, добрых, трезвых, занимающихся честным трудом, – людей, часто очень несчастных, но верующих в Бога и в нравственный закон*****.

* См.: Н.С. Лесков в воспоминаниях современников / Сост., подгот. текста, публ. воспоминаний О.А. Фрибес, А.Е. Зарина и Е.И. Зариной, коммент. Л.И. Соболева; публ. фрагментов дневника С.И. Смирновой-Сазоновой и коммент. к ним Л.С. Даниловой и В.В. Соминой; предисл. А.М. Ранчина. – М.: Новое литературное обозрение, 2018.

** Чуковский К. Собр. соч.: В 15 т. Т. 14: Письма (1903–1925) / Вступ. ст. Е. Ивановой; сост.: Е. Иванова, Л. Спиридонова, Е. Чуковская. – М.: Агентство ФТМ, Лтд, 2013.

*** Сайт РГАЛИ (URL: <https://rgali.ru/obj/10468613>).

**** См.: Чехов А.П. Цит. соч. С. 132.

***** Меньшиков М.О. Искусство хорошего тона // Письма к ближним. – СПб., 1912. Апр. С. 273. (URL: http://az.lib.ru/m/menxshikow_m_o/text_1898_materialy_k_biografii_chehova.shtml).

Пусть дар Ольги Фрибес значительно уступал горьковскому, главное подмечено Меньшиковым было верно: писательница, действительно, глядела на Россию иными глазами. Эта была Россия верующая – не сусальная, но наполненная живой, горячей верой; Россия «взыскующих Града». Не случайно действие большинства ее произведений – «В тихой пристани», «В морозную ночь», «Игуменья Рахиль: картинки монастырской жизни» – происходит в монастыре.

Стоит упомянуть и еще один талант Ольги Фрибес – рукоделие. Она владела искусством высушивания цветов и составления из них букетов и даже выпустила руководство об этом; моделировала и шила элегантные платья не только себе, но и многим друзьям. Для детей Меньшикова она шила костюмы и смастерила множество кукол, а для книг писателя изготавливала бархатные обложки с декоративным шитьем. Благодарные воспоминания об Ольге Фрибес сохранила дочь Меньшикова, Ольга (1911–1988):

Очень красивая, высокая, стройная дама. С папой их связывала большая и долгая дружба. Мы все, дети, звали ее Ольга или Ольгочка*.

Сохранилось более 500 писем Меньшикова к Фрибес. После его расстрела она помогала выжить его семье: забрала к себе в Петроград старшую дочь Лидию, заботилась о ней; вскоре к Ольге Александровне переехала и вдова писателя. Мемориальные вещи и архив М.О. Меньшикова тогда оказались на квартире Фрибес, благодаря чему и смогли сохраниться. Сегодня большая их часть находится в Валдайском филиале Новгородского музея-заповедника**.

Судьба Ольги Фрибес в пореволюционные годы почти не известна; она отошла от литературной деятельности. Скончалась она в 1933 году и была похоронена на Большеохтинском кладбище в Ленинграде рядом со своими родными.

На протяжении всего последующего, советского, периода сочинения писательницы – в силу «религиозной тематики» – не переиздавались, а ее имя было предано забвению. К сожалению, и после 1991 года ситуация не изменилась – ее литературное и эпистолярное наследие еще ожидает публикации.

Ниже мы публикуем наиболее известную повесть Ольги Фрибес, «В тихой пристани», написанную в виде дневника монастырской послушницы Веры, описывающей свое житье в монастыре и те неожиданные соблазны, которые ей приходится преодолеть...

Текст публикуется по изданию 1899 года (СПб.: Тип. Безобразова); орфография и пунктуация, в целом, приближены к современной норме.

* «Московский журнал». 1999. № 7. Публикация М.Б. Поспелова (URL: <http://mosjour.ru/2017061493/>).

** См.: Яковлева Н. «Она вплела в мою жизнь много прекрасных, хоть и засушенных, цветов...» (URL: <https://vk.com/public129121295>).

I.

7-го июня

Сегодня ночью почти не пришлось мне спать. С вечера, удалившись за свою Сзанавеску, я долго заливалась слезами. Не знаю, почему, именно сегодня это искушение. Мелькнуло как будто воспоминание о мирской моей жизни, но мне ее не жаль: ведь я одна, родные у меня есть только не близкие, одна на белом свете, но и в миру я была всегда одна.

И вот что заставляло меня плакать – мне жаль себя за одиночество. Никому не могу высказать, что у меня на душе, ни определить словами, и кто не живет в монастыре, никогда не в состоянии представить себе наши скорби. Мне жаль невозвратного времени, когда, вскоре после того, как меня одели, я как бы вся отдалась, посвятилась Богу. Где эти минуты «восторгов сладких и молитв»?

Отчего какая-то завеса как будто лежит надо мною и скрывает от меня радости религиозного вдохновения, и холодно, и тягостно у меня на душе? А между тем, авва Нил говорит: «Если хочешь как следует молиться, не огорчай свою душу, ибо напрасно будешь подвизаться».

В таком состоянии заметнее постоянная душевная неволя, окружающая нас. В институте мы были так же стеснены, боялись начальницу, классных дам, учителей почти так же, как боимся теперь матушку-игуменью, хотя не любить ее нельзя! боимся старицу свою, всех старших, особенно эту невыносимую Калисфению, но в институте жизнь была для наших безумных детских глаз преддверием свободы и счастья, – а теперь... Да и теперь свобода от здешнего мира – будущий, но каково-то будет там?

Я плакала, едва дыша, чтобы не заметила старица. Долго стояла она на коленях перед иконами, с восковой свечой в руке, долго все читала и молилась, вздыхала, слегка охала, вставая и кланяясь: как будто небрежно и нетерпеливо тикали часы; Марфуша ворочалась на лежанке, всхрапывая с таким выражением, точно торопилась спать, – и все это раздражало меня и убаюкивало.

Солнце только что взошло, как уж старица меня разбудила.

– Верушка, встань, дитяtko, – сказала она, – подай регального маслица*, ночесь-то, почитай, не заснула ни на минуту.

Ей было очень худо, и когда она отпустила меня, я уже размаялась и спать больше не хотелось.

Утро, раннее это утро было ослепительно; оно казалось золотым; с красной крыши противоположного корпуса исчезала быстро влага; цветы на могилах, точно еще сонные, подняли к солнцу свои нежные чашечки, и золотые кресты наши на куполах так победоносно сверкали в ясном небе. О, Божий мир, созданный для людей, без них как ты прекрасен! Утренний колокол, звучащий в свежем воздухе, вернул меня к жизни, мне хотелось молиться и каяться, и забыться...

* Регальное масло – масло, настаиваемое на траве регаль, растущей на Афоне; считалось целебным.

Однако к утрени я не пошла, потому что Марфуша торопилась на казенное послушание, а мне надо было прибрать в келье, напоить старицу, вымыть чашки, а между тем утрени отошла очень скоро, потому что матушки-игуменьи против обыкновения не было, а когда это случается, все очень торопятся.

11-го июня

Как быстро несется время! Сегодня годовщина моего поступления в обитель, вот уже три года. Три года, Боже мой! Как будто нечувствительно прошли они, а вместе с тем это три века, три новых эры – миллион мыслей и ощущений.

С тех пор, как меня одели в монашеское платье и, под влиянием религиозного чувства, я немного очнулась от своего столбняка, я точно вновь родилась тогда на свет, стараясь совершенно забыть всю мирскую мою жизнь; я так старательно отгоняла от себя всякое воспоминание, что хоть и не боюсь их теперь, но почти трудно остановиться на них мыслью.

Никто здесь ничего не знает обо мне, и сначала никто не врвался в мою душу. Поэтому минуты глубоких страданий прошли в полной тиши.

Я постоянно старалась держать в уме слова аввы Иосифа: «Ты не можешь быть монахом, если не будешь пламенеть весь, как огонь». Но как много мелких, ничтожных терний на моем пути. Меня терзали лишения чисто материальные – не было булки к чаю, часто не было самого чаю, – а вместе с тем, душа моя, встрепенувшись, стремилась к небесам.

Она стремилась к вольной нищете, а между тем, сальные свечи, вместо ярких мирских ламп, грубая обувь, трапезное черное масло невыразимо раздражали меня. Я помню, как, в первые дни в трапезе, матушка игуменья, посадив меня возле себя и заметив, вероятно, в выражении моего лица отвращение при виде, как по овсяному киселю расплывалось, зелеными пятнами, постное масло, сказала мне: «Принимайте это как духовное лекарство, Вера Николаевна», и ее длинная, худая рука, с голубыми жилками, постоянно протягивалась к глубокому блюду, из которого черпали и еще четыре монахини.

Ах, но тяжелее всего был дух послушания! Как трудно мне было привыкнуть к моей старице, привыкнуть к мысли, что этой необразованной и грубой старой женщине я должна повиноваться беспрекословно, я, молодая и нежная!

А между тем, теперь, когда мы так дружно живем, я сознаю, как много должна ей быть благодарна. Неустанным и добрым терпением приучила она меня к порядку и к необходимости рукоделья, чтобы зарабатывать хоть ничтожные деньги; это ее спокойная мудрость вдохнула в меня насколько возможно смирение; это ее простая, светлая вера часто, часто согревала мою душу. А как я могла попасть на старицу хуже, что и говорить об этом! Например, Дашина старица умеет смирять! Она молится вечером, Даша не смеет спросить, принесть ли дров в печку; на утро не затопить – беда! Если в ее отсутствие принесет

дров – как смела топить без благословения! Даша воды даже не смеет выпить без спроса, а чаю до обедни ей старица никогда не позволяет пить. Нет, моя старица справедлива и добра.

Истинно могу сказать: я хотела отвергнуться себя, но не умела, может быть потому, что сразу бралась за многое. И борьба, и усилия, и глубокая тоска были в первый год, почему же следующие два прошли так бесплодно, монотонно и бесследно? Правда, я все недомогала; отчасти, да, я скажу правду, я скучала. Но вчерашний день, благодарю Тебя, Боже! молилось так сладко, плакалось так легко!

С вечера мы благословились в Покровский монастырь, все же, думаем, пусть монахи нам пропоют обедню вместо своих крылошанок*. Как старице стало нехорошо, я вздумала остаться, однако она сама отослала меня за нее вынуть часть**.

За обедней я была не так рассеянна, как у нас; я оживала, обновлялась, крепла перед пресвятой иконой. Возвращаясь оттуда, мы зашли в часовню. Вид из нее восхищал меня, точно я в первый раз его видела, но мы так редко вырвемся на волю, так редко подышим другим воздухом. За садиком на лугу тени огромных придорожных лип, там синяя река и красные рубашки на барках, за мостом громоздились облака, и между ними мирно голубело небо. Чего еще надо человеку? Я опять полюбила жизнь, дыхание летнего воздуха, а может быть, опять люблю людей, то есть буду менее горда с ними, менее лицемерна в моем смирении перед ними.

Среди даров, полученных человеком от Создателя, есть один не для всех необходимый – это возможность выражать свои мысли, но для меня в этой возможности иногда глубочайшее счастье. Как я рада, что мне пришлось неожиданно в голову говорить с собою словами. Изобилие невысказанных впечатлений меня часто тяготит; сказать же некому.

12-го июня

Еще вчера мне хотелось какого-нибудь развлечения, и вот оно явилось. Как Еще Господь утешает меня. Наташа-письмоводительница заболела, и меня позвали в игуменские написать в консисторию*** бумагу. Я всегда с волнением переступаю порог кабинета матушки – но не от одного страха.

Нашу матушку нельзя не любить; я имела не раз случай заметить, как она умна; говорят, что характер ее неровен, что она раздражительна и самовласт-

* Крылошанка – послушница.

** Имеется в виду вынимание частиц из просфор священником во время проскомидии (подготовительной части Литургии); в это время читаются записки о здравии и упокоении, которые поданы в свечной ящик на проскомидию. После прочтения каждого имени, указанного в записке, священник вынимает частицу из просфоры, говоря: «Помяни, Господи, о здравии и спасении рабов твоих...» (произносятся имена из записок о здравии); затем – «Помяни и упокой, Господи, души усопших раб Твоих...» (произносятся имена из записок об упокоении). По завершении Божественной литургии и Причащения мирян священник влагает в потир частицы, вынутые в поминание живых и усопших со словами: «Отмый, Господи, грехи поминавшихся зде Кровию Твоею Честною, молитвами святых Твоих».

*** Консистория – учреждение по церковным делам при епархиальном архиерее в 1744–1918 гг.

на, что она мало входит в нашу келейную жизнь, но я, особенно в те горькие минуты, когда еще переживала свою печаль, видела по отношению к себе большую доброту и деликатность. И при этом вид ее, важный и простой, ее приемы, взгляд ее больших выпуклых глаз, еще голубых и ясных, строгость ее обращения и вместе, когда нужно, большая, задушевная приветливость, – все это мне кажется родным, ведь я из одного общества с нею. Мне бы так хотелось с нею сблизиться, горячо полюбить ее, но расстояние между нами так велико! Ведь таких, как я, в ее ведении человек полтора, она имеет над ними огромное право и слава Богу, что не злоупотребляет им даже в мелочах. Если бы помощницы у нее были иные, так во многом было бы лучше! Ах, эта Калисфения. Ведь мне обидно! Она не дает мне покою. Это все оттого, что я бедна, и матушка не назначила мне пока определенного послушания; я знаю ее тайную цель – чтобы дать мне возможность и время приработать немного... а Калисфении этого не стерпеть.

Сегодня мы встретились, когда я под таким хорошим впечатлением уходила из кабинета, а она мне наговорила несколько нравочений по поводу того, что в церкви я ей недостаточно низко кланяюсь. По нашему обычаю, я ей поклонилась за выговор со словами: «Простите, матушка!». Но в душе моей кипела злоба. Меня мучит иногда эта необходимость лицемерия. Я, мне смиряться – и перед кем же!

Возвратясь домой, я рассказала матери Маремьяне и встречу, и мои сомнения. Но она меня немного успокоила. Она напомнила мне об Арсении Великом, об его смирении перед старшими монахами, несмотря на то, что он был и глубоко образованный человек, и царедворец, любимый своим государем.

Никак старице моей я не могла объяснить разницу между смирением истинным в сознании своего ничтожества или показным и вынужденным. Калисфения – это мое искушение. Никто, никто ее не любит!

У матушки в кельях очень хорошо, просторно, светло. Сама она сидела за саженными* пальцами вместе с Машенькой, которая по старой памяти помогает шить ковер и готова, кажется, перенести свое чувство на эту матушку, совершенно такое же сильное, как она питала к игуменье Ювеналии, своей приемной матери.

Матушка, облокотившись на переплет пялец и совершенно, по-видимому, бесцельно качая на руке очки, повернув голову, смотрела в открытое окно. Характерность ее бледного лица и римского носа еще резче мне кажется от апостольника**, который закрывает всю голову. У нее строгий вид, когда губы сжаты. На мою молитву она подняла глаза и обернулась, сказала, что и как написать; я, вероятно, кажусь ей очень бестолковой, потому что стесняюсь в ее присутствии; кроме: «Благословите, матушка!» ничего не умею сказать.

* Саженный – очень большой (сажень равнялась 2 метрам 13 сантиметрам).

** Апостольник – предмет одежды православной монахини; головной платок с вырезом для лица, ниспадающий на плечи.

Машенька взглянула на меня прелестными своими глазами, которые так же спокойны и ласковы, как должна быть чиста ее душа, и прошептала приветствие. У них уютно, тихо, удобно так писать.

Сейчас Марфуша нагнулась надо мною, доставая с полки ложки. «Кому строчите такое длинное?» – сказала она, взглянув на листок, на котором я пишу, и потом прибавила со вздохом: «Никак и марки у желанненькой нет!».

Ах, это правда! У меня нет марки, если бы даже я хотела написать дяде или Грише, или Мите. Впрочем, и они мне давно не писали. Не в том дело. Марки нет, когда она стоит всего 7 копеек. В миру я даже не замечала таких мелочей, здесь же чего не купишь за 7 копеек!

13-го июня

Мы ли не строго держим пост, вот он уже наступил, а старица моя все недовольна. Сегодня и охая и прерывая себя – очень ей неможется! – она опять заговорила про старое житье: «Нони что за народ! А вот как мы, бывало: пост – о чае и думать забудь, дитятко! да! Нам все мяту заваривали да с красным медом, так до того, бывало, головушку разломит...».

– Благослови, матушка, с вами посидеть, – сказала Марфуша, вернувшись с послушания.

– Бог благословит! Я в ту пору в игуменских жила – не эта матушка и не Ювеналия игуменья, а еще раньше того, мать Варсонофия – строгой жизни! Я, к примеру сказать, как нонче Лиза игуменская – полы мыла, стирала! Так вот монастырская жизнь была – и трудились! и постились!

– А еще шалфей вместо чаю давали, не при тебе это было, мать Маремьяна? – спросила я.

– Давали и шалфей! Нонче вот нас избаловали, дитятко! Только понапрасну. Господь батюшка любит труды и поститься велел.

Марфуша рассмешила меня, тихонько напевая в подражание великопостному звону: «Пей... шал-фей! пей... шал-фей!». Прежние монашенки так шутили над шалфеем, который им давали в великий пост вместо чаю.

Вот как прежде жили, а нам при баловстве, чаю и кофе, и то как трудно, особенно в пост! Сейчас ударят на ужин, сегодня я не пойду, старицу одну нельзя оставить; я теперь иногда благословляюсь у нее не идти в трапезу ужинать, это еще она иногда допускает. Так тоскливо сидеть в этой длинной полутемной зале, пропитанной запахом кушаньев, с низкими потолками, в то время как вечер так свеж и ароматен. Прежде лишения не беспокоили меня так, как теперь, у меня нет, кажется, самого необходимого. Ах, как я малодушна! Как бы мне хотелось, чтобы у меня был комфорт, но главное – одиночество и свобода! Я хочу быть спокойна, что никто не потревожит меня, а даже ночью старица читает, шепчет, а иногда забудется и громким голосом запоем что-нибудь.

16-го июня

Сегодня по случаю воскресенья девиц наших много ходит по монастырю – все они, кажется, высыпали из келий и гуляют по «плите», как здесь называют тротуар. Я тоже раз или два прошла до ворот с Машенькой. Прекрасный вечер! Как бы мне хотелось, чтобы и меня любили, как Машеньку! Правда, она в монастыре с трех лет, она им своя, а меня считают гордой и благородной.

Она сказала мне сегодня: «Ну что, вот больше и не скучаете... привыкли? прежде-то как все худоумились, все плакали... ведь жаль было смотреть». Она произнесла это совершенно таким тоном, как говорит любящая няня переставшему капризничать милому ребенку, как с ней самой говорит ее мать Илария.

– А вы? Разве никогда не скучаете?

– Да ведь случается, в монастыре все бывает, – отвечала она, подумав немножко, причем симпатичное ее личико было полно такого детского ясного выражения; видно, она остерегалась не только сказать неправду, но даже скрыть что-нибудь.

Общество Машеньки и вообще обстановка монастыря напоминают мне душевное состояние моего детства. Я помню чувство безмятежной доверчивой безопасности, когда я, устроившись со своими куклами за высоким креслом моего отца, бесцельно прислушивалась к его шумному разговору с гостями и любовалась, как причудливо клубы дыма от их сигар мешались с золотистой пылью в широких полосах солнечных лучей.

Нечто подобное испытываю я теперь, когда, засыпая, смотрю, как на потолке отражается тихое пламя лампадки, старлица шепчет молитвы, переворачивая тяжелые листы, дверь наша на крючке, монастырские ворота заперты огромными ключами, всё и вся меня оберегают... но злые призраки коснулись моей души, воспоминание о них бессознательное – но осталось.

17-го июня

Жила-была маленькая девочка, сирота с одной стороны, у нее был отец, заботливый, нежный... Нет! Зачем эти слезы! Жизни нельзя рассказать именно так, как она происходила, но для того, чтобы понять причину, почему она «почти в утро своих дней» кончается в Рождественском монастыре, надо рассказать все, но нельзя касаться ран, хотя уже заживших, но еще чувствительных. Это не об отце; я его потеряла, когда еще не умела хорошо соображать, и дядя ведь был добр ко мне, как умел.

Очень интересный вопрос, выиграет ли он процесс и получим ли мы наследство? Мне бы досталась ничтожная его доля, но 4 тысячи здесь – огромное богатство. Как Богу угодно.

Я могу сказать одно: через все 24 года, что я пережила, невидимая, но логическая рука вела меня к сегодняшнему этому, добросовестному сознанию: мне

места в мире не было, я рада всеми силами души, что достигла этой тихой пристани, – я хочу здесь умереть!

Вся моя жизнь, мои неудачи, разбитые надежды были наполнены намеками, что так должно быть. Еще пятилетней крошкой звон колоколов я любила больше всякой другой музыки.

А тот бал, когда я в первый раз встретила Сергея Сергеевича? Эта ночь, когда мы возвращались, или скорее это утро, потому что благовестили уже к ранней обедне, часто мне вспоминалось... Колеса кареты скрипели по снегу, глухо звучал колокол, я в упоении успеха и пережитого веселья откинула ротонду^{*}; если бы не тетушка, я открыла бы окно на снежный воздух; я смотрела в него, и вот когда мы уже подъезжали к дому, вижу: приходская церковь светится огоньками – люди молятся, а мы спешим отдохнуть от светского волнения! Мне стало внезапно больно, мне хотелось войти в церковь, опуститься на колени... и тяжелое предчувствие сжимало мне сердце...

8-го июня

Мне кажется, большое украшение каждого дня, если он начат обедней. Мы так привыкли к этому, что странно, когда что-нибудь особенное удерживает дома. Ходить ко всем службам, как монатейные монахини^{**}, было бы для меня еще очень утомительно, но я почти не помню дней, когда бы пропустила обедню. Я люблю ранние обедни больше; после них день кажется длиннее, не перерезан пополам, как по праздникам, к тому же не так долго приходится ждать чаю.

В этом отношении моя старица строже других; никогда не позволяет пить до обедни. Теперь она больна, и мы с Марфушей не можем ставить самовар потихоньку, но я отчасти этому рада – моя гордость всегда страдала от необходимости участвовать в этом тайноедении. Этот суровый обычай и у нас выводится мало-помалу. А прежде, бывало, к каким уловкам прибегали! Особенно при игуменье Ювеналии, которая в этом отношении отличалась большой строгостью; она до утрени, бывало, встанет и пойдет по кельям – шлёп, шлёп своими туфлями, не пьют ли где чай. Раз, услышав ее приближающиеся шаги, девицы заметались, не зная, куда спрятать самовар, уже вскипевший, и быстро набросили на него сарафан. Но игуменья Ювеналия, сморщив нос и прищурив пронзительные глазки, сейчас заметила дым и проговорила: «Что это, девицы, у вас самовар в сарафан наряжен?». И хотя их больше ничем не наказали, но страх, который они претерпели, был для них хуже всякого наказания.

^{*} Ротонда – верхняя женская теплая одежда в виде длинной накидки без рукавов.

^{**} Монатейная (или манатейная) монахиня – монахиня, постриженная в малую схиму, имеющая право носить монашескую мантию. Монахи, принимая постриг в малую схиму, давали три обета: послушания, безбрачия и нестяжания (отказ от владения личной собственностью).

20-го июня

Бедная моя старица очень плоха. Ее ноги давно опухли от долгих напряжений, теперь они отнялись, я думаю, на время. В лице она не изменилась ни сколько – все то же худое в мелких морщинах лицо, издали похожее на слоновую кость, только взгляд ее... теперь часто бесцельно устремлен вперед с выражением страха и терпения. Вчера я видела, она заливалась слезами. Она боится смерти! Вся жизнь ее была приготовлением к ней, все помыслы обращены на нее, и вот теперь на пороге ее она содрогается! Бедная старушка! Теперь я не возмущаюсь ее властью, я привязалась к ней, и мне ее так жалко!

И где теперь ее неутомимая деятельность? Однако Псалтырь ее не покидает: нет-нет она своей худой рукой перевернет страницу, привычным взглядом найдет образ и начнет с распевом читать.

У нас в келье поминутно народ, теперь только вечерня помешала, – всё старицу навещают наши матушки. – Что, мать Маремьяна, можешь ли? – Слава Богу, терплю еще. – Собороваться ладишь? – Ладить-то лажу, да ведь как матушка благословит... – Ну, помоги тебе, Господи.

Разговор все тот же, но каждая принесет что-нибудь. Заварку чая, часть селедки, камешек из Иерусалима, просвирку, деревянного масла*, леденцов двести штуки, благословение от имени матушки. Все это, кажется, очень радует мою дорогую Маремьянушку, и я предчувствую, что она выздоровеет.

22-го июня

Все говорят, что моя старица скоро кончится, но я не могу этому верить; наши все рады разохаться над всякими пустяками. Всё свое: соборовать! соборовать! Теперь она больше все молчит, иногда шепчет. Сегодня утром она тихо сказала: «Себе рясу возьми, а Марфутке платок новый! Да мать Маврикия мне полтинник должна, так Бог с ней! А там пусть, как хотят!». Она махнула рукой, и опять по бледным ее морщинам побежали слезы, у меня они тоже навернулись. Тогда она, заметив это, улыбнулась и прошептала: «Он меня, Батюшка, не оставит! Устроит как-нибудь!». Но нет! Мне все не верится, так просто это не бывает, недаром все так боятся этого мучительного призрака.

Но как чудны, как лучезарны эти ясные дни! Сегодняшнее утро, когда я шла к обедне, еще полно было вчерашнего дождя, свежо и благоуханно. Резкие тени лип лежали на плите; они еще не цветут, а между тем над верхушкой одной из них в луче солнца уже кружился рой пчел. Я уступила искушению и нарвала в саду цветов, еще полных росы, чтобы повеселить старицу. Когда я медленно возвращалась из сада с цветами в руках, даже косноязычный Миша улыбнулся, увидав меня. «Свиты, свиточки», сказал он. Есть ли место смерти в такой расцвет природы!

* *Деревянное масло* — низший сорт оливкового масла, не идущий в пищу; употребляется для масляных ламп и лампадок.

3-го июля

И вот все кончено. Неужели этот свежий дерновый холмик – все, что осталось на земле от моей старицы. Я не верю этому; она жива в моем уме, в моей жизни; может быть, в эту минуту странной тишины вокруг меня и странного одиночества ее душа со мной и невинно смотрит, как я пишу, и слезы мои бегут неудержимо одна за другой, только в них нет горечи; мы жили дружно, но недолго вместе, встретимся и там, а ей там лучше, чем было здесь.

Ах, мать Маремьяна! Слышишь ли ты меня? Вспомни обо мне с молитвой, как бывало здесь; она посмотрит на меня и так ласково скажет: «Христова невестушка!». Ей, верно, казалось в эту минуту, что и я, как она, «течение жизни и монашеского подвига совершила»*, тогда как я не вступала еще на ее порог.

В смерти есть неизъяснимое величие. Эта ночь была очень страшна, и вместе с тем глубокое это впечатление не изгладится никогда. О, Святый Боже, прими и мой дух с миром. Ночью это было, светлой лунной ночью, и я одна была с нею. Марфуша спала и не проснулась, и я не в силах была разбудить ее. Я проснулась на звук какого-то шороха, но никого не было. Старица стонала, как все последнее время, и невнятно бредила; меня охватил необъяснимый ужас, и я не могла больше закрыть глаз. *Никого с нами не было, только мы были не одни.* На занавесках, освещенных ночью, ясно был виден переплет окон; мне показалось, что они шевелятся, но все оставалось неподвижно. Было уже часа два, «дай, думаю, помолюсь, больше не могу лежать»; я подошла к образам и при свете лампадки оглянулась на мать Маремьяну; она смотрела на меня сознательно и спокойно; это меня немного ободрило. Не могу выразить моего волнения, торжественного и решительного.

– Верушка, дитятко! никак звонят! – проговорила она вдруг отчетливо и громко, хотя до сих пор все бредила невнятно. Я спросила ее:

– Что, легче тебе, мать Маремьяна?

Она не отвечала и все смотрела на меня, потом вдруг громко закричала: «Аминь! аминь!», думая, что творят молитву за дверью.

Ей тоже казалось, что в келье есть кто-то, кроме меня, она взглядывала по разным направлениям, защищая ладонью взгляд, точно чтобы лучше рассмотреть, и время от времени шептала: «Матушки, старицы, простите! благослови, Батюшка!». Потом она вдруг опять громко и радостно сказала: «Эво! Матушка Клавдия!». Вот она кого вспомнила – это была ее собственная старица, когда, 55 лет тому назад, она пришла в монастырь. Я не знала, что надо уже читать отходную, да и не могла молиться, все забыла, только почти бессознательно держу в уме: «Помилуй мя, Боже! Помилуй мя!».

Я упала на колени, чтобы не видеть того, что началось. Мать Маремьяна, разбрасывая руками, уронила одну мне на голову; почувствовала ли она или поняла, что это я, или о другом о ком думала, только она перекрестила мои во-

* Парафраз на слова ап. Павла: «Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил» (2 Тим. 4, 7).

лосы; я хотела удержать ее руку, но не могла пошевелиться; чувство более глубокое, чем страх, меня всю наполняло; в нем было благоговение, и я была поражена. Когда я поднялась с колен, наступила полная и величавая тишина – моей старицы со мной уже не было. Мне не досталось горькой обязанности закрыть ее глаза; она сама точно спокойно уснула. На дворе уже светало, я чувствовала страшную усталость и дрожь, но ложиться спать и думать нечего было – и вот, только теперь я свободна и одна.

II.

5-го июля

Мне часто приходило в голову, почему мать Маремьяна, которая так просто и кротко, так терпеливо жила, так мало заботилась о том, что ее встретит там? Она точно собралась в дальнюю дорогу и не столько думала о цели своей поездки, как о том, чтобы здесь оставить все в порядке. Именья после нее осталось меньше, чем у самой бедной кухонной послушницы. Я, конечно, не могу носить рясы, которую она мне оставила, никто бы ее не мог носить, но приняла ее с благодарностью.

Более всего заботилась она о своем свечном ящике, о первом числе, когда доход из кружек и со свечей надо представлять матушке-игуменье, о том, что благодетельница обещала пожертвовать масла на церковные лампы, о том, как я останусь без нее одна. Говорят, что матушку-игуменью она просила взять меня к себе. Милая моя! О себе самой она всего меньше думала во всех этих распорядках. Какие же заботы будут у нее там? Какой ответ? Какие надежды?

Говорят, еще недель шесть я останусь здесь с Марфушей.

7-го июля

Наконец, окончена моя салфетка, от нее во многом зависит мое благосостояние.

Мы вчера долго сидели с Марфушей у окна, где мирная розовая заря светила нашей работе; я приделывала к салфетке бахрому, Марфуша вязала из обрывков шерсти пестрые детские шапочки. У нас было очень тихо и безмятежно; девицы целыми вереницами гуляли по монастырю и служили нам развлечением. В этой самой келье умерла когда-то старица матери Клавдии, потом она сама, за нею ее келейница, мать Маремьяна, умрем и мы – и в этой мысли нет ничего печального: надо только стараться жить хорошо, чтобы хорошо умереть. Единственная на свете вещь непреложная, неминуемая, неизбежная – смерть, а на самом деле разве существует она? Душа разве может умереть когда-нибудь? Она может изменить свой образ, но сама жива, потому возникла духом Божиим.

Я думала об этом, прижав к губам ручку вязального крючка и облокотившись на свою салфетку. Марфуша вдруг сказала с улыбкой:

– Антересно мне знать, о чем вы думаете? Вы не замечтайтесь, желанная.

– Ведь девятый день завтра матери Маремьяне? – проговорила я, взглянув в ее ровно красное, может быть прежде красивое лицо, которое вдруг как бы по заказу сморщилось и облилось слезами; мы несколько времени молча и согласнo плакали.

– Уж и девятый, царство небесное, – проговорила она, успокоившись. – Сливочек завтра возьмете? Кофейку бы попить, ведь скоромный денек.

– Ах, Марфуша, что это ты вдруг о сливках заговорила? – сказала я с упретом.

– Да ведь помянуть надо, желанная? – отвечала она с лукавой усмешкой.

Моя работа кончена, я могу свободно думать о кофе, он обеспечен, по крайней мере, на месяц.

Потом мы поговорили о нашей ближайшей участи. Нас не оставят вдвоем в келье, даже если бы я и могла внести за себя. Но я слишком молода, чтобы жить одной с Марфушей. Ее, говорят, посадят в башмачную. Я очень благодарна матушке-игуменье – она похоронила мою старицу хорошо, конечно, даром. Что имеет против меня эта Калисфения, что она с таким злорадством обещается разлучить нас с Марфушей. Ведь ее не спросят. Если матушка даст нам старицу – ее воля, переведет меня к себе – тоже ее воля, посадит меня в чью-нибудь келью – как ей угодно. Я на все согласна

Да, я, может быть, в глубине души буду огорчаться, но никто не увидит этого. Я знаю, что матушка хорошо расположена ко мне, я доверяю ей, что она меня устроит. К сожалению, у меня нечем закупить Калисфению, да я и не хочу такими средствами добиваться ее благоволения. Глупая женщина, прости Господи! Уж если она забегает перед Морковкиным, серым мужиком, за то, что он пожертвовал нам полянку, и расталкивает старого и малого, очищая ему по церкви дорогу, что сказала бы она, если бы всего три года тому назад увидела бы меня на балу в белом шелковом платье, с живыми цветами на груди? Я бы хотела, чтобы она видела, как я уронила розу и Тверской сам взял ее себе на память. Господи! Как нечаянно это все мне вспомнилось. И даже сейчас по нашей келье точно понеслись звуки вальса и запах олеандр, и весь чарующий блеск светского бала!

11-го июля

Я думаю, во всей моей жизни еще не было дней таких свободных и спокойных, как теперь. Неужели я, наконец, достигла того пути, к которому стремилась? Я, слава Богу, здорова, молода, я как-нибудь проживу без роскоши, мечта о которой меня так долго мучила. К здешним порядкам я совершенно привыкла, и трапезное кушанье, и ежедневные обедни, и поклоны наши меня не очень тяготят.. Чай пью каждый день, а что нет конфет, да вольтеровских кресел, да запаха дорогой сигары, да музыки... что за нужда? Особенно когда встанет солнце

и всю землю точно окутывает дымок и звучит наш колокол. Боже, Спасе наш! Я Тебя вижу, я поклоняюсь Тебе! Мне ничего не нужно, кроме ясности души.

Бывало, когда старица заставляет меня вслух читать, например, сказание святых Отцев, как мне бывало лень, а теперь я сама с глубоким интересом их прочитываю. Мы ни в чем не изменяем порядка нашего дня, я хожу в трапезу и утром, и вечером, как всегда требовала моя старица; по субботам по-прежнему бегаем на реку чистить самовар до того, что в нем можно смотреться; так же прибираем келью – Марфуша с влажным веником, я с пыльной тряпкой; нынче я хожу и к утрениам. Мне все легко делать добровольно; я бы и стирала, и на речку бы ходила за водой с коромыслом, если бы не надо было сидеть над уродливой старомодной филейной салфеткой, которые здесь очень покупают. Я теперь часто остаюсь одна, пока Марфуша на послушании, и очень успокаиваюсь в тишине и свободе. В моей жизни дорого одиночество, внешнее, конечно; подругу мне хотелось бы иметь, которой я бы все могла сказать и, главное, которая все бы могла понять; но моя старица очень неблагосклонно смотрела вообще на дружбу. Машенька? Но она дитя; многих других я, может быть, сначала оттолкнула сама своей печалью и мнимой гордостью, хотя на самом деле едва на белый свет могла смотреть. Ах, подальше, подальше, только бы мне не вспоминать моей мирской жизни!

13-го июля

Если серьезно, полной душой вникнуть в мысль Иоанна Златоуста, когда он, восхищаясь словами апостола Павла *видимое временно**, развивает их и говорит о бедности, то действительно можно постигнуть хотя мгновениями, что в виду будущей жизни легко отвергнуться себя в материальном отношении. Истинные философы всегда предпочитали бедность. Если я хочу есть, как вот, например, теперь, когда Марфуша запоздала и я должна ее подождать с чаем, то не все ли равно для моего организма, если я утолю свой голод куском простого и прекрасного печеного хлеба, а не пирожком с визигой и сигом? Тяжело отвергнуться себя в другом отношении, например, победить свою непокорную гордость, как сегодня, когда эта суетливая лукавая старушонка Калисфения совалась в мои дрова, что мы часто и без нужды топим плиту и т.п. Боже! Как же не осудить! Когда я прихожу на поклон к матушке-игуменье и затем кланяюсь всем старшим, Калисфения и Павла едва отвечают мне движением бровей. Может быть, они испытывают меня...

Впрочем, что за нужда! Это ничтожное, пустое искушение, и его так же легко отряхнуть со своей души, как приставшую к башмаку валяющуюся соломинку. Мать Маремьяна так была смиренна, а между тем умела быть выше мелочных дрызг. Как бы она сейчас сказала на мои слова: «Ишь! Осуждать – грех смертный!».

* 2 Кор. 4, 18.

15-го июля

Какая радость! После вечерни, когда все уже отошло, тоненький смешливый Голосок... Боже наш, помилуй нас! – Аминь. – Спасенье в келью! помогай Господи, – говорит, входя и видя, что я работаю, игуменская Лиза.

В руках у нее глубокое блюдо.

– Матушка-игуменья приказала вам отнести, чтобы по старице не очень скучали...

– Ах, Лиза, поблагодари милую нашу матушку! Спаси-то ее, Господи! – сказала я, снимая с блюда крышку и увидав большой кусок пирога, две лепешки и крендель. Я хотела поделиться с нею, но она уверила меня, что получила свою долю, и весело отбежала к двери.

– погоди, Лиза, – остановила я на минутку, – скажи-ка ты мне, что́, Девора видела, как ты мне несла, что, она очень гримасничала? Ведь тарелку ты у нее должна была спросить?

Лиза сейчас же очень похоже представила, как мать Девора злобно поджимает губы и, мотая головой и раскачиваясь, проходит мимо, косясь на тарелку. Боже мой! все иметь, как она, управлять всеми съестными припасами и всегда завидовать, если помимо ее пошлют другому чего-нибудь!

Мы дружно посмеялись с Лизой, пока я освобождала тарелку, и потом, замкнув келью, я пошла к Машеньке с Иларией. Слава Богу, я могла уделить и им немножко.

– Ой, тошнѣхонько! – вскрикнула Илария, когда я неожиданно вошла в их келью, но, увидав меня, успокоилась; она думала, кто чужой; а сама была без апостольника, повязана одним платком.

– Очень уж я ужарела! – проговорила она. Машенька поливала цветы и, по своему обыкновению, медленно повернув ко мне свою русую голову, безмолвно улыбнулась.

– Ну, куда мне экое воздушное! – сказала мать Илария, мужественно отгалива крошечный кусочек пирога, который приходился на ее долю, и стараясь не глядеть на него; – это вам, благородным; вам да Машеньке, а не мне.

– Не ври, Илария, – кротко перебила Машенька, – ведь пирожок с рыбой, а сама наемни говорила: рыба – душа моя.

На это побежденная Илария только добродушно рассмеялась.

– А у меня-то, барышня, Вера Николаевна, – она всегда меня так называет, – пропажа какая – шелк потерялся! Да, матушка вы моя, вот какое горе! – говорила она, закрывая Пролог*, в котором по случаю праздника читала по складам. Станок ее с поясами и Машенькины пальцы, аккуратно закрытые, дружно стояли у окна.

– Целѣшенький день маюсь! Не найти мне шелку казенного – мне велено

* Прѣлог (или Синаксарь) – книга для чтения («четья»), представляющая свод сокращенных житий святых и поучительных слов, расположенных по дням года.

принести пояса – сборщиц скоро справлять, а шелку-то и нету. Я искать. Я все выворачивать!

– Илария, ведь я говорила тебе, помолись Иоанну Воину, – заметила Машенька.

– Да кабы не молилась! – сокрушенно подхватила теперь общая наша с Машенькой старица. – Я говорю: уж ты, батюшка Иоанн Воин, скажи мне, куда подевался мой шелк! Нет, видно придется ему свечку поставить, нечего делать! Пусть бы нашлась моя потеряжка! А то, прости Господи, я и ропотнула давеча.

Машенька, покончив с цветами, взялась за своих птичек. Я думаю, она считает цветы живыми существами – с такой заботой и любовью ходит за ними и выращивает их на диво; ни у кого не цветут такие яркие пеларгонии и такие пышные петунии, как у нее.

16-го июля

Мне мать Илария всегда живо напоминает мою старицу, в них много общего, хотя гораздо меньше похожих черт характера. Обе из одной среды, даже из одного села, только мать Маремьяна была из богатой семьи, а мать Илария – из бедной. Обе одинаково знали духовное писание, одинаково любили читать и рассуждать. Обе были большие постницы, надежные во всех отношениях, и мировоззрение у обеих одно и то же, общий внешний тип, хотя Илария высокая, дородная, с лицом еще белым и гладким, а Маремьяна была маленькая, худенькая старушка, вся сморщенная и согнувшаяся. Илария очень часто улыбается, хотя не любит смеяться, особенно в грозу, Маремьяна же всегда была серьезна, хотя в ее серьезности было много благодушия. В глазах Маремьяны, начальство не могло ошибаться, даже если к ней были несправедливы; матушка-игуменья, духовник, старшая монахиня – все были умнее ее самой; Илария же очень любит втихомолку посудить, не прочь «ропотнуть», как она выражается, хотя, как хорошая монахиня, повинуется беспрекословно. Своим келейным либерализмом она напоминает мне рассказы про крепостных людей, которые любили помещиков и стояли при случае за них горой, а в людских усердно их же пересуживали. Послушать ее – все у нас нехорошо, а раз при мне какая-то мирская дама осудила наши порядки, как Илария на нее набросилась!

Моя мать Маремьяна была олицетворенное нестяжание и не оставила ничего, хотя из дому получила, по здешним понятиям и нуждам, большое приданое, и вместе с тем она любила трудиться, но каждое свое дело, каждое достоинство, даже жизнь свою она отдавала на пользу обителю, которая, по ее словам, «спасла ее от многих бед».

Мать Илария тоже, как пчела, все жужжит какой-нибудь работой, секунду не сидит без дела, но очень, очень любит заработать на стороне и припрятать в свой сундучок, который мало-помалу накапливается. Кому это она все бережет, Бог весть! Разве Машеньке, которая, впрочем, не из самых бедных. Обе были

очень опрятны, но что до ветхости одежды, другой такой, как Маремьяна, не было – зеленоватая ряса, порыжелая наметка*, выцветший плис на камилавке; а мать Илария – нет! Пофрантить это ее первое удовольствие, несмотря на то, что ей за шестьдесят лет.

Тоже сладкий кусочек она очень любит, а мать Маремьяна всякое не то что лакомство, а даже просто вкусное блюдо считала грехом. Но других она не судила, потому что все существо ее было проникнуто сознанием собственной греховности. Мать Илария, напротив, не прочь иногда в своем разговоре воздать должное каждой сестре.

И в отношении вверенных им девушек было тоже большое различие и сходство. Мать Маремьяна очень меня любила, готова была отдать мне свою трапезную порцию, свой чай, но вместе с тем часто надоедала мне своими запрещениями относительно самых невинных вещей. Например: после правила пойти к кому-нибудь в чужую келью, водить дружбу с другими моими товарками, громко засмеяться, взять читать какую-нибудь мирскую книгу, не достоять всеобщей и т.п. Я понимаю, что во мне она видела нетронутую девическую красоту души и берегла это отданное ей на хранение серебро не с тем, чтобы спрятать его, завернув в платок, а чтобы приумножить, и потому очень надо мной мудрила, пока я ее не разгадала; но и тогда часто ей не противоречила, потому что она так пламенно была убеждена в правоте своих требований. Мать Илария любит Машеньку еще больше, она же ее и вырастила, когда жила в игуменских при покойной матушке. И теперь она продолжает быть Машенькиной няней, рабой, руководительницей, подругой, защитницей. Как бы этим могла злоупотреблять другая девушка, Машенька же, мне кажется, сама проникнута верным инстинктом, отличает дурное от хорошего и ненавидит злое.

Теперь, когда никто мне не запрещает, я люблю бывать у них, а между разными причинами одна из них так ничтожна и смешна, что мне самой себе совестно в ней признаться. Это просто искушение. У Машеньки есть большое зеркало. Почему мы свое лицо любим больше всякого другого?

Я люблю встречать в зеркале мои черные глаза; они одни так искренно и дружелюбно устремлены на меня. Я замечаю, как часто оборачиваются на меня мирские, когда я прохожу по церкви; но – перед Богом! – никогда я не дала заметить, никогда, никогда не дала заметить, что вижу это. Прежде это мне даже было в высшей степени неприятно, и ново во всяком случае не было... стоит только вспомнить наш кружок и собрания в миру. Но я не хочу вспоминать... и я недовольна собой, что написала это.

26-го июля

У нас после недавних дождей сенокос. Матушка-игуменья всех посылает убирать сено. Это весело, потому что необычайно, свободно и здорово. Как хоро-

* *Наметка, или куколь* — покрывало из легкой материи, спускающееся с камилавки (головного убора в виде цилиндра с обрезанными краями) или каптыря (полукруглой шапочки) на спину.

шо убежать от соседства многочисленных печальниц. Дни жарки, почти удушливы; они мне напоминают мою родину, где теперь деревья почти у каждого дома ломаются под тяжестью груш и слив, где так радостно пестреют мальвы и молодые девушки убирают головы маком и георгинами.

Пользуясь матушкиным благословением, наших девиц набежит видимо-невидимо на полянку. Мы все любим сенокос; такое наслаждение! Что за нужда, что от больших граблей немного поболят плечи, и бросишься на постель, как подкошенная? Куда ни оглянись, на поляне везде черные сарафаны и белые рукава; девицы для сенокоса приберегают нарядные головные платочки, запонки и башмаки с каблуками, но это под большим секретом от старших. Изредка появлялись между нами довольно поношенный подрясник и коленкоровый шушун, подпоясанный пояском; это наша матушка нарядная. Казалось бы, давно в насмешку это название, особенно при виде ее остроконечной шапки с ушами, надвинутыми поверх головного платка низко на щеки – это обыкновенный ее головной убор; но ее называют нарядной потому, что она наряжает на работы.

Вот она: не идет – плывет, потому что очень толста, покачивается из стороны в сторону и держит руки по швам, но раздвигая их, точно собирается ловить кого-нибудь.

Сама она не любит работать, но покрикивать доставляет ей, видимо, большое удовольствие.

Чаепитие у нас всегда на артельных началах, даже и обедать не хочется, хотя к 11 часам нам всегда приносят из монастыря ведро щей, каши или творогу. Но чай – как пьется сладко чай на опушке леса! В глубину мы не решаемся заглянуть – боимся медведей, которых особенно много в нынешнем году, и недавно еще из стада задрали теленка. В лесу что-то потрескивает; величаво и спокойно качаются верхушки сосен высоко в озаренном небе; внизу тень, прохлада, влажное лесное благоухание; с полянки несутся дружные перекрикивания наших девиц; чудно пахнет сено, и с этим запахом смешивается едкий дымок разложенного костра. Жарко! Белые рукава так и льнут к плечам, волосы греют влажную шею, руки кажутся не своими, так и упали на колени, дрожат, берясь за чашку – и нельзя передать, как свободен ум и легко сердце от всего, что в обыденной жизни томит и удручает...

Так сильно обаяние природы, что хочется слиться и с таинственностью леса, и с запахом топкой земли, и с солнечными лучами, которые, медленно двигаясь к горизонту, уже не жгут, как после обеда, а бросают малиновые отражения в ясном небе.

Мы возвращаемся домой к ужину, иногда у которой-нибудь из нас висит на поясе недоеденным крендель – мы все очень дорожим этим лакомством. Очередные подавальщицы в белых передниках, звонко выкрикивая Иисусову молитву, разносят кушанья, раздражая наш аппетит; мы беремся за щи с наслаждением, – и далеко ли до состояния Диогена, которому могущественный повелитель не мог сделать ничего больше, как только посторониться от солн-

ца! И от нас солнца никто отнять не может, не может отнять и красоты ночного неба, которое, еще светлое, вдруг усеется звездами, таинственно мерцающими в беспредельности, порыв ветра принесет то крик ястреба, то треск кузнечиков, то мягкий шорох крыла, – в душе моей я слышу другие звуки, неуловимые и знакомые музыкальные мелодии. Как давно я не касалась рояля! Не знаю, могла ли бы я сыграть что-нибудь, как прежде.

Кажется, пора спать. Мать нарядная – слышно мне в окно, – сидя у сенного сарая на завалинке, долго поучала работника Якова, как надо пахать, как косить, пользуясь тем, что он без возражения слушает свою начальницу или, может быть, даже и не слушает, – но вот, наконец, и она поднялась.

– Прощай, Яша! – сказала она и поплелась, раскачиваясь, к себе.

Торжественна и трогательна прекрасная ночь! О, мой Господь! Мы все Твои дети – мы должны жить, не обращая внимания на условия, не прилепляясь ни к чему земному – только в ожидании пробуждения.

1-го августа

Я боюсь духовной гордости. Спаси меня, Боже, от этого! Все хотят видеть что-то необычайное в том, что я по возможности стараюсь подражать настоящей монастырской жизни. Ведь для этого мы пришли сюда. Я пришла в монастырь в минуты глубокого отчаяния, когда обманулась в любимом человеке – он променял меня на другую! Но теперь я благословляю это несчастье. Оно и на земле открыло мне пути вечной жизни. Я рада, что хороша собой, молода, старинного происхождения – мало всего этого, чтобы пожертвовать Богу! У меня не было богатств, чтобы пренебречь ими, но из мира я не взяла, слава Богу, ничего. И это могло меня тяготить всего месяц тому назад! Я благословила на днях у матушки-игуменьи читать ночной Псалтырь, но она с неудовольствием сказала: сами себе не должны избирать послушаний. Но мне мало моего случайного послушания! Я с наслаждением готова месить квашню, а не то что блаженство по ночам за отошедших читать Псалтырь. Куда мне девать мои силы! Их так много, и мне все легко.

7-го августа

Верно, матушке-игуменье сказали! Она позвала меня в исповедный день и при себе велела выпить чаю. Сначала мне не хотелось! Ох, как неприятно было! Но она сказала: послушание паче поста и молитвы. Она долго говорила со мной. В ее манере выражаться много природного благородства.

Ведь и она барышней, изнеженной и гордой, пошла в монастырь, много терпела лишений и мирских пререканий, до сих пор ее родные не могут ей простить того, что считают сумасбродством. Но она была тогда старше меня. Она выговаривала мне, что я берусь сразу горячо и не по силам, что спасение не дается в такие молодые годы, что благодать приобретается постепенно и нужно терпение даже в религиозных порывах.

Ее слова падали на мой просветленный в те минуты ум, как дождь на посеянные семена; но зачем они хотят стеснить мой дух! Предназначение каждой души стремиться к ее источнику, если не стремится она, то хоть бессознательно, но страдает. Уж если матери Калисфении я поклонилась в ноги без всякого внутреннего неудовольствия, что значит все другое?

Но одно слово духовника на исповеди глубоко запало мне в душу. Он сказал: будьте милосердны! Потому что у апостола Иоанна сказано: «Кто говорит, что любит Бога, а братьев своих ненавидит, тот лжец!»*. А апостол Павел учит, что кто не имеет христианской любви, того слова – медь, кимвал звучащий**. Не удаляйтесь людей, а служите им; любя их, угождайте Богу. Когда я заплакала, он прибавил: когда дух высок, таково должно быть и сердце. И гордиться ими не надо – все в вас доброе не ваше, а Божие, а ваше должно быть смирение.

Ах, как сладостна полная исповедь! Этот день вряд ли я забуду когда-нибудь. У меня к вечеру так разболелась голова, что я век не могла поднять, я страшно боялась, что не в силах буду встать на ночную молитву, но все же наказала Марфуше разбудить меня к полуночи. Когда я легла, мне казалось, что голова моя разорвется сейчас, вот какое было искушение! Из глубины моей души я подняла глаза к Богу, прося помощи, и вот что случилось: я не спала, но, не видя, ясно услышала, как кто-то зашел к изголовью и протянул к моей голове руку. По худобе и коже я сейчас узнала, что это рука покойной матери Маремьяны; она положила мне ее на лоб, и пальцы точно втягивали в себя жар, понемножку боль прошла, и я заснула. Меня и будить не надо было, в половине 12-го я проснулась сама и не только вполне здоровая, но даже отдохнув так хорошо, что хоть бы и не ложиться больше. Слава Богу за все!

Никогда, кажется, прежде я с таким благоговением и религиозным ужасом не приступала к причастию, в то время как по обе стороны царских врат две молодые крылошанки держали зажженные свечи. Я боялась, я сознавала, что не достойна этого. И вот – перед Богом! – эта минута была чудная.

III.

Много перемен в несколько дней. Я живу в игуменских кельях, приближенная к матушке-игуменье. Марфуша перемещена в башмачную, и наша старинная келья отделяется для кого-то другого. Всем сердцем понимаю и благодарю матушку-игуменью за ее милости ко мне, хотя мне жаль и моей сравнительной независимости за эти шесть недель, и старого гнезда, где в течение трех лет переработался во мне внутренний человек.

У меня отдельная келья, маленькая и узенькая, об одно окно, очень отдале-

* 1 Ин. 4, 20.

** 1 Кор. 13, 1.

на от всех жилых наших келий, сейчас за большой крайней залой, где в прежние времена келейницы матушек шили золотом и работали из фольги. Теперь золотошвейня в отдельном помещении.

Я знаю, что внимание матушки ко мне возбуждает ропот; тут играет роль и зависть, и то, что я не внесла ничего за себя, а между тем устроена так почетно. Особенно недовольна Девора – все отворачивается от меня и ворчит что-то; наливая чай, бросает мне сахар и так двинет чашку, что половина расплескается на блюдечко. Лиза при этом взглянет на меня, незаметно улыбаясь; она равнодушна к проявлению характера нашей милой келарши, но на меня страшно действует на нервы чужое дурное расположение духа, особенно обращенное против меня.

Кроме Деворы и Лизы с нами живет еще мать Лукерья, закройщица для большей части послушниц, живущих в хлебной, в кухне и на коровнике; потом Фаина, бывшая горничная матушки-игуменьи еще в миру и постриженная вместе с нею; но она живет отдаленно от нас. Она очень стара и глуха, все время проводит на полу у лежанки в матушкиной спальне, с чулком в руках; там и спит.

Вот мои обязанности: когда благословляются к утрени в исходе пятого часа, я должна уже ожидать выхода матушки из спальни в келье, где мы обыкновенно сидим за работой, где в праздники поят чаем старших монахинь и причетника; из нее дверь в коридор, ведущий в теплую церковь, где служат зимой. Я должна подать матушке рясу, оправить флер наметки, подать четки и посох, потом проводить ее до церкви, где ждут ее появления, чтоб начать утреню, и помочь ей надеть мантию. Утреню я, конечно, не должна стоять и, если угодно, могу возвратиться в келью лечь спать с тем, чтобы часа через два встречать матушку по выходе из церкви. Но я дорожу этим коротким временем для себя, мне ничего не значит рано вставать. Это единственные минуты моей свободы. Когда у нас обедня ранняя, матушка возвращается на четверть часа, и я иду с ней к обедне; если поздняя обедня, матушка до нее успеет заняться делами и редко-редко когда кушает до обедни чай, почти никогда.

Днем я помогаю в шитье закройщице или пишу в консисторию бумаги, или служу матушке секретарем для ее деловых писем. Чтобы работать на себя, у меня времени урывками довольно, и я не так пристально сижу над салфетками, могу даже читать по вечерам и в праздники, о чае, кофе, свечах мне заботиться нечего, всего дают, хотя не в изобилии; но вот беда: я здесь очень связана – дѣла не делай, от дела не бегай! Каждую минуту жду, что меня позовут, меня хватятся... Спокойно себе самой не могу предаться – пишу или в утреню, или вечером, когда все улягутся. Обедаем мы все в трапезе, но ужинает матушка-игуменья дома и отдельное кушанье, которого остается всегда порядочно и на нашу долю. Но я предпочитаю ходить в трапезу... не мирится моя гордость с тем, чтобы делить остатки. Тоже подавать матушке чай и кушать – мне это поручили, что ужасно раздражает Девору и веселит Лизу; это очень почетная обя-

занность, и услужить старой, благородной женщине я готова с наслаждением, а начальнице...

12-го августа

Лиза так восхищается мною. Вот девушка, кажется, состоящая из одной неизменной радости. Всегда всем довольна, насмешлива, весела, услужлива. Мы пришли с нею в монастырь в один и тот же год; она на год по обещанию, я случайно и ненадолго, и обе остались навек. Она говорила мне, что рада была уйти от мирской заботы и нужды. Село их бедное, отец пьет, семья большая от двух жен, у нее мачеха, и потому ей приходилось не покладать рук.

У нас в кельях она топит одиннадцать печей, моет полы, стирает, убирает посуду и помогает Деворе в хозяйстве, молоко маковое или миндальное приготовит, чистит самовары, рукомойки, кофейники – и все же говорит, что живет барыней. Эта Лиза славная девушка, живая, круглолицая, с румянцем во всю щеку, с густой косой, которой она очень гордится, по словам родной песни – коса девичья краса. Физический труд кажется ей наслаждением; она никого не боится, кроме Бога и отчасти матушки, но и то и другое кажется больше на словах. С такими карими глазами, бойкими и самоуверенными, бывают очень отважны. И вместе с тем монастырская жизнь ей очень нравится. Она еще поет на левом крилосе* по праздникам.

Вот уж теперь прибывают богомольцы к нашему престольному празднику – Успеньеву дню. То и дело к матушке игуменье надо идти благословляться: то одна, то другая, то целая артель богомолков просится ночевать две-три ночи.

У нас в кельях все чистят и убирают, как к Светлому празднику; будет служить наш благочинный, преосвященный Афанасий. Кое-кто из старосветских помещиц тоже приехали в город. Приятно, если погода хороша. Веселый у нас будет праздник!

13-го августа

Гости за гостями. Я наблюдала за матушкой-игуменьей, не взволнована ли она, сегодня у нее был ее брат, с которым она не видалась лет пять. Он два трехлетия служил у нас губернским предводителем, теперь вышел в отставку и хочет поселиться навсегда в своем здешнем имении, а жена его и две дочери постоянно живут за границей. Я поняла отчасти, почему матушка была так озабочена и грустна после свидания с братом; одно слово Фаины мне многое объяснило; она мне все это рассказала. Она назвала его безбожником. Я взглянула при этом на элегантное пальто, которое висело в передней, где мы говорили, точно оно, одевая «безбожника», должно было отличаться чем-нибудь особенным. Странное отношение наших матушек к неверию; они думают, что почти все мирские – не-

* Крилос (простореч.) – клирос; место для певчих в церкви.

веры, что спастись можно только в монастыре и, думая так о мирских, из которых многих знают и любят, все же боятся этого слова. Кто же проник в чужую душу? Мне, напротив, этот барин не показался неверующим, а просто очень серьезным немолодым человеком, умеющим прекрасно держать себя.

Я это говорю не потому только, что он был так вежлив со мною; я чувствую сейчас воспитанного человека во всем. Я стояла на крыльце, любясь «сонмом» наших земных ангелов, как они суетливо в длинных черных одеждах разбрелись по разным направлениям, некоторые с судочками для больных или нерадивых; я даже не заметила, как барин подошел ко мне. – «Скажите, сестрица, можно видеть матушку-игуменью?» – проговорил он, без глупого мирского любопытства глядя на молодую монахиню, без унижающей любезности нашего уездного общества, но очень приветливо и серьезно. И пока он шел за мною по парадной лестнице, он спросил еще только: «Что это, все расходятся после завтрака?», на что я невольно улыбнулась. Конечно, мирским должно казаться странным, что обед уже окончен в 11 часов!

Поздно вечером

Около вечернего часа огромный тарантас не в тройку, а даже в четверку лошадей привез, наконец, питерскую купчиху, ожидание которой порядочно всех волновало. Она наша благодетельница с давних пор. С нею приехали две ее внучки, довольно хорошенькие и очень порядочные девушки, няня в ситцевом повойнике* и горничная.

Немедленно после приезда Прасковьи Михайловны раздался по всем кельям ее крикливый и визгливый голос, с напускным, как мне кажется, раздражением, потому что раздражаться-то уж ей нечего. Ее приняли с распростертыми объятиями не одна только матушка, которая, кажется, искренно с нею дружна и оказывает ей уважение, из чего я заключаю, что Прасковья Михайловна стоит этого. А Девора... как описать блеск ее карих глазок, ее суетливую, сладкую угодливость?

У Прасковьи Михайловны своеобразные манеры, она разводит руками и при этом наклоняет голову, то упрется ими в бока, то вертит ими перед глазами, точно помогая своим словам, и говорит при этом так странно, что, подавая им чай, я едва удержалась от смеха, и несмотря на это, в ней чувствуется добродушие и своеобразный такт. Ее внучки с детской пугливостью смотрели на нас, едва притрагиваясь к чаю, поэтому, видно, тонки, как тростиночки, а не грузны, как бабушка. Я наблюдала, как они мило одеты, вот нынче какие моды.

Вечером мы возвращались от всенощной, которую служили по случаю приезда гостей. На передней лестнице ярко горел фонарь; пошатываясь от усталости и постукивая посохом, шла впереди матушка; за ней, как рой пчел, гости; молоденькие девушки, видимо умеряя шаг, спешили за нею; им все казалось

* Повойник – платок, обвитый вокруг головы; головной убор русских замужних крестьянок.

смешно; они оживленно шептались; я стояла на площадке, давая им дорогу; они с любопытством обернулись на легкий звук моих четок. Для них готовится на завтра особо парадный обед, и матушкин братец будет тоже; я буду подавать им обедать... Разве это должно входить в подвиги монастырской жизни? Почему теперь это мне кажется не смирением, а унижением? Я начинаю судить? или жалеть? Или, может быть, завидовать молодости и веселости этих юных наших гостей? Я провожала их в гостиные кельи; все их удивляло и радовало – высокие наши перины и старинные часы с курантом...

Но ведь всего 4 года тому назад и я была так же нарядна, так же модна, как здесь выражаются, и так же на чужой глаз горда, как и они кажутся мне.

Никогда еще не было такого наплыва богомольцев – в каждой келье непременно пристало человек трое, а в сенном сарае? на коровнике? в хлебной? я думаю, на всех не хватит ложек.

На монастыре сильное оживление. Уж очень поздно, и, должно быть, все устали, но народ вперемешку с нашими черными сарафанами еще шевелится на плите и под деревьями. В трапезной яблоку негде было упасть за ужином, а в кухне, кроме того, подкреплялось множество нищих и странников.

15-го августа

Праздник окончен. Мы только что убрали посуду после вечернего чая, матушка отдыхает, гости отправились в мужской монастырь. Слава Богу, все сошло прекрасно, гостей было много, обедали чинно и долго во главе с преосвященным владыкой, и я в награду за все хлопоты, за усталость наслаждаюсь теперь уединением в моей симпатичной келье. До всенощной, по крайней мере, часа полтора.

Как торжественна была сегодня у нас обедня! Иконостас и паникадила горели, как свет, большой парадный ковер на солее, люстры зажжены, прелестное голубое облачение, архиерейское соборное служение нашего благочинного, концертное пение, множество мирских, так что была давка и почетные гости стояли на крилосе, и вдобавок ко всему мягкая, чудесная погода; целые потоки света лились в высокие окна; из сада, когда мы шли от обедни, несло благоухание резеды; легкий прохладный ветерок колебал верхушки лип.

Мы хлопотали много, зато и награждены сознанием того, что все было у нас великолепно. Гости сначала пили чай, как водится, потом обедали. Голос Прасковьи Михайловны всех заглушал, она не посмотрит даже на преосвященного. В церкви наши свечницы наперерыв за ней ухаживали: отдельный стул, мягкий половик, на него еще вышитый коврик – и я видела, это доставляло ей удовольствие. Благодетели очень не прочь, чтобы их уважали.

Я очень хорошо заметила, с каким уважением относится матушка-игуменья к преосвященному, которого в первый раз я видела так близко. Когда я кланялась ему, он спросил: «Это у вас новенькая? Я ее еще не видал». Матушка обра-

щается к нему не только как подчиненная к начальнику, а с почти благоговейной чистосердечной почтительностью. Я не скажу, чтобы и на меня он производил такое же впечатление – он очень суров, почти не улыбается и, несмотря на небольшой рост и худобу, умеет придать себе величественный вид. У него брови постоянно насуплены, он сидит понуря голову и совершенно с таким выражением, точно равнодушен ко всему на свете.

Если бы я смела, мне бы хотелось узнать, что у него на душе? *Есть что-то*, потому что у него приятное открытое выражение строгих глаз и голос, как мне кажется, избобличающий характер прямого человека.

Я люблю рано вставать, потому что люблю утро при блеске солнца; вечерняя красота навеивает на меня тоску и беспокойство, я сама не знаю, почему. Только не вчера, вчера мы так устали после всенощной, которая продолжалась три с половиною часа, а миром мазали до 11 часов, что я ни на что не была способна и вечерние молитвы прочитала кое-как. Уже совсем ложась спать, я пошла посмотреть, не забыли ли закрыть в чайной келье окна; там наша Лиза, Даша кухонная и Катя большая читали акафист празднику. Это было очень трогательно, порядок удивительный, везде намытые полы и разостланные половики, все лампадки зажжены, и три молодые девушки молятся так усердно и невинно. У меня брызнули из глаз слезы: эта тихая, никому не видимая молитва была торжественнее еще самого праздника. Многие из наших монахинь проводят ночь накануне Успенъего дня всю напролет в церкви, читая акафисты, и народ тут же с ними.

Разве хорошо, что я сегодня, надевая на голову бархатную повязку, так долго смотрелась в зеркало? я не знаю, что со мною, давно не блистали так глаза, не горели так щеки; я хороша собой, я не краснея призналась в этом самой себе, потому что посвящаю себя навсегда Богу.

Меня тяготит совесть не за это, я думаю, просто от усталости нервы возбуждены или расстроены, мне кажется, я на мгновение выронила из рук свое духовное оружие... мне сегодня весело.

За обедом какое искушение. Я подала блюдо Прасковье Михайловне, а она, продолжая рассказ, вдруг обернулась и, случайно взглянув на меня, сказала, точно мне: «Воистину, матушка, умер от аполитического удара, и капли лохманские не помогли!»*. Я не знаю, что сделалось со мною, я чуть не уронила блюдо, меняясь в лице, искусала все губы, чтобы громко не расхохотаться. В эту минуту я подняла глаза и встретила взгляд матушкина брата; он смотрел на меня и чуть-чуть улыбался, точно сочувствуя мне в моем мучении. Он, должно быть, человек не дурной, держит себя так просто со всеми. Во время послеобеденного чая он пришел в средние кельи и долго и довольно остроумно болтал с Лизой и с нами. Ему, видимо, нравились ее бойкие ответы.

* Имеются в виду апоплексический удар и гофманские капли (лекарственное успокаивающее средство, получаемое смешением 2 частей серного эфира с 2-3 частями 90% винного спирта или этилового алкоголя).

17-го августа

Когда я была в миру, жизнь в монастыре мне представлялась совсем иной, чем на самом деле. То были мечты! Я думала, что здесь живут без чаю, без мягкой мебели, без смехотворной болтовни, постоянно в тяжелых физических трудах, но зато с восхитительными минутами отдыха «в богомыслии и духовном созерцании». Не только далеко мне до этого, но я еще не вступила на тропинку, которая ведет к этой дороге. Я дрожала при мысли о наслаждении духовными беседами наших святителей и богословов, но увы мне! Чудо, если я, прочитав утренние молитвы, изредка возьмусь за Иоанна Златоуста; часто одна утренняя и обеденная утомляет меня так, что хочется поскорей присесть, отдохнуть за рукодельем, и слово Божие совершенно так же не доходит до моего душевного понимания, как иногда при невнятном чтении священника мы не можем уловить слов Евангелия, которое читают в алтаре. Мне скучно одной, мне хочется, чтобы всегда был праздник, всегда весело...

Ведь Господь сотворил мир для счастья, зачем эта постоянная эмблема плача и слез?.. Нет, я заглянула в бездну будущего, в бездну моей души... и ужаснулась того и другого!

18-го августа

Как бы мне хотелось прочитать какую-нибудь книгу! Как я одинока! кому я смогу объяснить свое волнение, и жар души, и напрасно вянущие силы? Так уходит жизнь, ведь я еще молода, ведь до смерти так далеко!

21-го августа

Сегодня у нас был Михаил Илларионович; они очень спорили с матушкой; Скажется, это всегда так бывает. Какая глупость и пустошь меня беспокоила! Будто трапезная сукодная шапочка, которую я сегодня надела, чтобы подавать чай, не идет ко мне!.. Я скажу об этом духовнику.

Этот «барин наш», как его все у нас называют, мне очень симпатичен, несмотря на то, что он неверующий и иногда заявляет это так определенно. Не ошибается ли он сам? Иначе... Господи, спаси его и помилуй!

Что это он говорил, когда я приходила за чашками, и матушка была недовольна? Он сказал так: сама жизнь, сама красота – и в этой черной хламиде! уж если есть грехи, так вот грех! Он думает, что грехов нет. Это ослепление ума – грех всюду; вне нас и в нас. А матушка-игуменья ему отвечала так отрывисто: «Пожалуй, только не вздумай им это говорить!».

А потом он, уходя, сказал уже на площадке: «мы всё про вас спорили!». Зачем он это сказал? Спорили тогда, когда он говорил эти слова? или раньше? или после? Я благодарна ему, если он заступает за меня, хоть и неверно, но по своему разумению. Боже! прости меня! Мне лестно, что обо мне так говорят. Но, может

быть, он сказал: спорили вообще о вас, молодых монашках? Да, может быть, это так; у него был такой сердитый голос, и он сказал мне последние слова так небрежно. Не все ли равно? И что, в сущности, мне до его мнения? Нет, враг не дремлет! Человек похвалил, и он уже мне симпатичнее, чем прежде, даже если его похвала и такого дешевого достоинства – похвалить наружность.

22-го августа

О том, как я любила в миру, теперь только я могу вспоминать совершенно спокойно: и сердце, и гордость перестали страдать. Только что прошлась я по монастырю, по плите, до ворот и обратно; ночь темная-претемная, одни только лампадки на могилах светили мне, но как тепло, ночь точно глубоко и томно вздыхает, зашевелив деревьями; в кельях везде огни, я даже различила в одном окне чью-то руку, освещенную светом лампадки, которую она поднимала в передний угол. Я остановилась у ворот, мысленно проникая в ограду; по мосту звенел колокольчик, видно, кто-то подъезжает к городу, Бог весть с какими мыслями, с какой тоской в душе или счастьем.

Хотелось бы мне войти в освещенный зал под звуки музыки, хоть на минуту, хоть невидимкой заглянуть, как живут люди, которых я оставила. Что Сергей Сергеевич! Кому теперь он улыбается своей пленительной улыбкой, поглаживая темные усы, чьим глазам внимают его глаза так ласково и самоуверенно? Боже мой! как неожиданно для меня самой на мне этот черный подрясник с бархатным воротником; я распустила волосы, они слишком тянут мою голову, наверно, завтра будет гроза, здесь очень душно! О, мать Маремьяна, отчего ты ушла от меня, ты, такая сильная, крепкая, верующая душа! Ты бы сказала сейчас: ишь, схудоумилась, Верушка! Ты бы прибавила такое слово из священного писания, что тронуло бы меня...

Я только что взяла письма Иоанна Златоуста, но я не могу читать. Он требует слишком многого от дьякониссы Олимпиады*, если бы это применить ко мне, но ведь это невозможно, – моя душа сравнительно так слаба и так ничтожна. Ах, если бы я могла заплакать сегодня над его вдохновенными страницами...

26-го августа

Я присела в чайной, пока чашки в гостиной еще были полны; мы называем чайной эту загородку от средней кельи, где на лежанке рядом стоят самовары один другого ярче и блестящее; тут же помещается большой стол, покрытый клеенкой, посудный шкаф, два-три стула и бесчисленное множество подносов.

Думалось мне: мое место не здесь сидеть в углу у окошка с подносом в руках, ожидая звонка из гостиной, а в самой гостиной, где идет разговор... почему-то и теперь еще мне кажется, касающийся именно меня? Я облакачи-

* *Св. Олимпиада* (368–408) – диаконисса, ученица свт. Иоанна Златоуста. Имеется в виду книга «Письма к диакониссе Олимпиаде», состоящая из 17 писем к ней святителя.

ваюсь на окно, в которое глядит большая, еще багровая луна и встряхивают точно нетерпеливо за стеною ветвями березы, и мысли несутся, несутся, как осенние листья, развеянные ветром. Вдруг в дверях: «А, вы здесь пьете чай, как уютно!».

Я узнала голос Михаила Илларионовича прежде, чем увидала его, у него голос приятный и мужественный. Я ничего не имею против брата матушки-игуменьи, но я не хотела бы с ним встретиться иногда – он для меня олицетворение мира. И потом мне так жаль его глубоко, как было бы жаль слепого, – у него нет веры. Сколько восторга вызвало его появление в нашей чайной, и всем он нашелся сказать что-нибудь веселое и приятное, хотя пробыл всего несколько минут, и все с ним сблизилось; Лиза, без стеснения выставив из-под подрясника ноги в уродливых серых чулках и казенных башмаках, поглядывала на него своими зоркими глазами. Девора... нет, это нельзя представить себе всех ее ужимок, особенно, когда «препростой» барин согласился присесть у стола и выпить еще с нами чашечку чаю; она так раскачивала головой из стороны в сторону, в полном удовольствии, так то сжимала, то распускала в лстивую улыбку губы, или похлопывала руками в такт его немногим словам, что ее «усердие» было слишком очевидно. Он попросил чаю без сахара, но она, думая, что он, вероятно, церемонится, положила четыре куска. Луша, закройщица, казалось, вся превратилась в одно восхищение, хотя вставить словцо ей не удалось; зато она сняла раза два со свечки прямо пальцами, считая это, вероятно, вежливее, чем щипцами. Даже Фаина не соглашалась сесть в присутствии сына своих бывших господ и слушала, стоя в дверях и с почтительным благоговением сжав губы, хотя всего полтора часа перед тем прошептала мне, когда он шел к матушке: «Думается мне так: что он не Пашковской ли веры? * Ноне-то сами знаете...» – прибавила она зловеще.

Но мне он не сказал ничего – и я тоже молчала; мне трудно было поднимать веки; я всегда так кажусь глупа в его присутствии.

В одну минуту он взглянул в мою сторону, и мне показалось, как за сверкнувшими золотыми очками шире раскрылись его глаза, взгляд его точно спрашивал: отчего вы ничего не говорите? И я взглянула на него с безотчетным, с несправедливым укором. После этого его настроение изменилось.

Манеры его мне напоминают далекое, далекое прошлое, и руки у него такие белые. Иногда промелькнет в нем что-то похожее на матушку. У него густые брови, черные, как смоль; и усы совершенно седые, рот с насмешливым выражением, широкий подбородок, избличающий упрямство и вместе такая веселая скромная улыбка! В нем есть привлекательное зло, он опасный человек! Недаром и избаловали его в миру. Там его и место, а у нас... Я даже боюсь за Лизу, она так радуется, когда он придет, так стремится услужить ему.

* Близкая к протестантству секта пашковцев, учреждена в 1867 г. гвардии полковником В.А. Пашковым; имела успех в петербургских аристократических кругах.

28-го августа

Михаил Илларионович считает монастыри ненормальным явлением; неужели пример святого, которому сегодня правили всенощную, ничего не говорит его душе? Могу ли я помочь ему?

30-го августа

Вмоей собственной душе так темно теперь! О, что мне до них, до всех мирских людей! Полно и своей заботы. Мать Маремьяна, вот когда горькими слезами я оплакиваю нашу разлуку. Я так беспомощна и жалка! Отчего мне не к кому обратиться с полной искренностью. Сказать бы кому-нибудь: пожалей! научи! помоги! Богу? Но примет ли Он теперь мои молитвы? они мне кажутся так тяжелы, что не могут вознестись на небо и обратно падают на мою склоненную голову. Вот беда! я чувствую, что это вражеское искушение, но его победить не могу. И написать не умею, потому что во мне все так сбивчиво и непонятно и противоречиво.

Когда уже все разошлись, я по внутренней лестнице тихо спустилась в кухню, оттуда в трапезную и долго ходила там, стараясь ступать по половикам, чтобы заглушить шаги. Когда я приближалась к стене, где перед образами теплятся неугасимые лампы, мне становилось легче; когда я отходила в противоположный угол, тяжело, тяжело. Никого там не было, все прибрано к завтрашнему дню; эта низкая комната кажется бесконечной. Но какая у нас везде чистота – нигде ни соринки; тарелки, расставленные на клеенчатых столах, покрыты полотенцами, заменяющими у нас салфетки, и до квасных кружек можно дотронуться без всякого предубеждения.

31-го августа

Я живу у матушки-игуменьи в кельях, я близка с нею, каждое утро, в течение дня, после вечерни я вхожу с меньшей, чем прежде, робостью в ее спальню; ее внимание ко мне, возбуждающее очень ясно зависть многих низких душ, заметно и дорого для меня, – а между тем, как мы далеки! Когда я встречаю взгляд ее темно-голубых глаз, может быть бессознательно пристальный, я чувствую дрожь в душе, – хотелось бы открыть ее, как я и должна по-настоящему, по духу монастырской жизни, – и не могу! Никто не может, никто не должен коснуться глубины моей душевной жизни... ах, если бы не грешно было желать умереть! Впрочем, эта мысль о неизбежности смерти – во всяком случае, очень отрадна.

Сейчас перед моими глазами между разорванных туч блеснула звезда и, как странно, вид ее меня успокоил, точно ее лучи достигли до моего сердца и согрели его.

Сегодня в вечерню я пошла было к Машеньке, и их переполох несколько

отвлек меня от себя самой. Теперь уже не тайна для Иларии, что ее будут постригать в мантию в будущий пост, и она понемножку готовится к этому.

Только как на грех она пошла вчера отнести лепешек отцу Евлампии в Покровский монастырь, все равно, говорит, постригут, так в первый год не очень-то можно за ворота выходить, а тут денек свободный, лепешки пекли, она и пошла – и попала как раз на казначею! И ничего бы, ну, сказала бы, что за шерстями для Машеньки в город ходила – так блюдо ее выдало! А подумать, как бы жили покровские батюшки без наших лепешек, без наших швей и вязальщиц; и они нам в свою очередь оказывают маленькие услуги, когда часы починят, книгу переплетут, а то и полфунта чаю пришлют в подарок. Вообще мы живем с ними в дружбе, хоть некоторые из них и называют наших монахинь за сплетни «адской почтой».

Я думала воспользоваться для себя, как успокаивающим средством, веселыми и мудрыми рассуждениями Иларии, ясностью Машенькиной души, и вместо того мне же пришлось утешать и ту и другую, что авось не доведут до матушки.

Волнение Иларии было так простодушно – она, постоянно краснея и бледнея, только изредка глубоко вздыхала. «Вот мне всегда так!» – приговаривала она. Машенька мне рассказывала, что в обед по матушкину лицу старались угадать, знает ли она или нет, но не удалось. Матушка была рассеянна и озабочена и не глядя давала целовать свою руку, когда благодарили за обед. Я заметила это тоже. С каким бы удовольствием я облегчила бы ее заботы, ее бремя, если бы она доверилась мне и, как человек, как женщина, приняла бы мою исповедь – благосклонно, с сожалением!

8-го сентября

Михаил Илларионович возвратил мне сегодня мою книгу. Ему, вероятно, самому было неловко отдать ее при всех. Уходя из передней, где все наши его провожали, он медленно потянул за собою дверь, взглянув на меня, и я вышла за ним на площадку. И мне, и ему было неловко... особенно мне. Однако я спросила его, когда он молча протянул мне «Письма к диакониссе», – «Вы ничего не скажете об этом?». Он отвечал мне с легким задумчивым вздохом: «Для меня это интересно, как подлинный исторический документ; а вам... ведь еще Тургенев сказал, что русская женщина любит красноречие...», прибавил он с осторожной улыбкой, точно боясь обидеть меня своими словами.

Потом еще несколько мгновений мы были вместе... но мы молчали. Я не решалась сказать, что думала в эту минуту, а что приготовила в уме раньше, забыла все, все решительно. Он взял мою руку, прощаясь, и поцеловал ее.

Да, да, и я не раскаиваюсь, я не смущаюсь... это было так просто и чисто. Он поцеловал благословляющую руку, потому что, если Господу угодно, я все-таки надеюсь вывести его на путь правый. Быть может, недалеко то время, когда я

приподыму с его глаз пелену неверия и печали, навеянную философами самовольного язычества, и Истинный Свет блеснет перед ним.

Апостол Иаков говорит, что кто обратит грешника на истинный путь, покроет множество грехов. В семью его я внесу утраченное счастье; почем знать, чем кончится его обращение!

Наше свидание было так мимолетно и при какой обстановке – на серых неровных ступеньках площадки парадного крыльца с дверкой в чулан с одной стороны, а с другой – с большим, мелко переплетенным окном, обращенным на соседнюю слободу, а между тем, сама поэзия, много прекрасных дум и надежд промелькнуло в эти мгновения! Он ушел так быстро, точно взволнованно, и теперь я жалею, что не успела сказать ему все, что хотела. Вот кому с радостью открыла бы я свою душу, свое прошлое, свою угасшую любовь; он умеет так хорошо слушать; он молчит, но блестящие глаза его задают один вопрос за другим... и невольно хочется отвечать с полной искренностью. О, Боже! какое великое счастье – общение с чужой душой, такой прекрасной и могучей.

12-го сентября

У нас в монастыре сегодня свадьба; как это странно звучит! В маленькой церкви, что над воротами, совершаются мирские требы, только нам нельзя присутствовать. Но это не мешает нашим крылошанкам следить за всем издали: как расшатанные экипажи подвозят местных красавиц в ярких платьях и с платочками в руках, как соборные мирские певчие и баритон-любитель прохаживаются по монастырю под березками и липами, как прошел в церковь наш отец Михаил, даже, если перебежать дорогу к часовне, видно, как причетник* в окне перетирает венцы. Я не знаю, почему была настроена так напряженно; неясное ожидание меня тревожило или безотчетные укоры совести.

В монастыре было большое оживление, что всегда бывает, когда много мирских: группы наших девиц медленно скользили и передвигались тут же. Кстати и день был прекрасный; без шума и без порыва слетали с деревьев желтетье листья; в голубом небе неслись облака, точно рвались на свободу; в небольших лужах ярко отражались лучи солнца. Хорошее дело свобода! ее хочется даже облакам. Вот у нас в игуменских чем нехорошо – всё надо быть настороже: не позовут ли, не хватятся ли... Однако я дождалась невесту. Я видела ее издали, почти не заметила ее, мелькнуло только раскрасневшееся широкое лицо с потупленными глазами и смятые на вуали цветы – отчего же такое глубокое волнениехватило всю мою душу? Жаль мне существа, обреченного на новую жизнь и новую борьбу? или приготовление к великому таинству коснулось моего сердца?.. Ах, неужели это всё отголоски моих мирских терзаний и надежд? Нехорошее, нехорошее во мне чувство... *Что я сама, никогда...* Ну так что же? Меня ждет другой венец, если я заслужу его.

* Причѣтник – младший член причта, псаломщик или дьячок.

Я видела, что мирские обращали на меня внимание и долго провожали взглядом, с недавнего времени я это постоянно замечаю. Вероятно, в жизни каждой женщины бывает время, когда внутренний огонь освещает все существо и привлекает взоры... Даже Илария, встретив нас с Машенькой, когда мы после свадьбы медленно возвращались домой, сказала:

– Посмотрю я на вас, против вас с Машенькой никого другого нет! Такие вы чернобровые, беленькие, обе нежные... ну, одно слово – благородные! – расхваливала она и тут же прибавила в виде маленького предостережения: – Хорошо, что вы не вертушки у меня!

Вот я здесь одна в этой моей тихой келье об одно окно, обращенное на церковь, вот большое Распятие, которому я так радовалась, вот киот с фарфоровым яйцом и лампадами; вот мои книги на высоком налойчике*, покрытом мережным полотенцем, вот моя узкая, скромная кровать за ситцевой драпировкой – все знакомые предметы, но мне не по себе среди них. Я хочу, чтобы около меня звучала нежная, мудрая речь, я хочу заботу о себе, сожаление...

Меня все считают немолодою по медленности моей походки, по серьезности... а между тем мне еще нет 25 лет; разве это много? Мои волосы еще густы и длинны, еще лучше, чем когда меня с молитвами одевали в ряску; тогда ими любовались, все говорили о моей красоте; меня тревожили их слова; они были ненужны и ничтожны, когда моя душа горела и я стояла, точно на суде Христовом. А теперь... теперь я рада, что мною любят, и хочу, чтобы любовались мною. Это искушение? Или это пустяки, так – ничтожная, мгновенная мысль, как неискоренимый остаток далекого моего прошлого?

Пора молиться Богу! Ведь завтра вставать к утрени, проводить матушку-игуменью.

18-го сентября

Михаил Илларионович уехал. Матушка послала к нему на квартиру, и там сказали, что его нет в городе. Слава Богу, я сделала все, что могла, пусть тайна душевного обновления совершается теперь сама собою. У нас потянулись однообразные тихие дни; сентябрь необыкновенно теплый для здешнего климата. Весь день я сижу в кабинете за отчетными книгами, но это дело не вдохновляет моей души. Иногда я отрываюсь от графы, куда вписываю: масла постного столько-то пудов, по столько-то; кофе столько-то фунтов... и смотрю в окно перед собою. Мне видна часть собора с сияющими крестами, униженными галками, противоположный корпус с отцветающими геранями и петуньями на окнах и часть дороги, от ворот ведущей в монастырь. Звук колес постоянно заставляет меня поднять голову... но то или картофель везут наши послушницы, или с мельницы кули с мукой, или они же возвращаются с дальних полянок. Им, Христовым трудницам, дела всегда по горло; наша Марфуша тоже, бывало, за день умается, придет – едва держится на ногах.

* *Налой* (простореч.) – аналой, или аналогий, – подставка для икон или книг.

Вот набезжит осенний дождь, застучит в окна, точно лаком покроет крыши, то улыбнется капризное солнце... мне хочется какой-нибудь перемены. Наши ждут времени, когда будут рубить капусту, но я не люблю этого монастырского развлечения. Матушка сидит за пядьцами; в свободное время Лиза ей помогает или Машенька придет, соскучась по старом пепелище, и их присутствие освежает даже мое дело. Изредка перекинемся взглядом, словом, а Лиза всегда найдет предлог рассмешить меня. Матушку постоянно отвлекают. Вот, например, молитва за дверью и грузный корпус матери Агнии и ее медно-красное лицо появляется перед нами.

– Благословите, матушка! – скажем, приподымаясь, я и Лиза.

– Зачем пожаловали? – спросит матушка-игуменья.

– Семен-столарь* опять гвоздей просит..

– Да недавно, кажется, брали?

– То, матушка, как дровяники перебирали, все и ушли, а нонче ведь дверку матери Миропии повесили, так обить клеенкой благословите.

– А что, столбы на коровнике смотрели? простоят? Что это! Все строимся, строимся и конца не видать.

И долго еще тянется беседа в этом роде – полы перестилали у той-то, обоями оклеивали и т.д. Наконец мать Агния величественно уплывает. За ней вбегает мой старинный враг, Калисфения, в заплатанном позеленевшем платке; но теперь, особенно при матушке, она мне приветливо усмехается; я уже не бедна, как прежде; твердая надежда на наследство известна по всему монастырю и странно меняет мое положение относительно других.

– Матушка, с Дубровны приехали, убрались, слава Господу. Зароды четыре поставили.

– И то пора, ведь с коих пор они там хороводили; хорошо ли просушили сено?

– Да уж просушили. Афимья большая говорит, кабы вёдро, на той бы неделе оборотили. Куда теперь благословите? и т.п.

По ее уходе является монастырская экономка.

– Что скажешь?

– Кушанье како благословите, матушка, – говорит она, подходя под благословение и непременно проговорив по отношению к работе каждой из нас: – Помогай, Господи! – Голос ее сладкий, улыбочка во все лицо... и, верно, в сундуке водится не один билетик. Не знает добрая наша матушка, что в трапезе в ее блюде положена лучшая рыба и больше масла, чем на другом конце стола, – она думает, что всем поровну.

– Лапшу... – в раздумье говорит матушка.

– Лапшу и я думаю. Лапша давно не была, – подтверждает Евстолия, экономка.

– Ночесь-то, матушка, Синюхина-то ведь померла, – переменяет она разговор.

* *Столарь* (простореч.) – столяр.

– Умерла уже? Ну, царство небесное! Тебе кто сказал? Верно ли?

– Да уж верно. Давеча попался приказчик тут у моста. К преосвященному, говорит, иду, о месте для могилы хлопотать. Верно, как же.

– Наших, ты не знаешь, позовут?

– Не слыхала. Да уж на вынос, как думается, не позвать? Псалтырь читать, буде, у них заговорены* покровские... а то позовут, – говорит она успокоительно.

Но меня не интересует вопрос о Синюхиной, богатейшей нашей купчихе, гораздо больше меня занимает лапша, которой я не люблю, и не без сожаления слышу о ее появлении завтра.

Но вот благословляются к вечерне, ударяет колокол, и я могу оставить свои графы, снаряжаю матушку и провожаю ее в церковь.

В этом однообразии будут проходить целые недели... О, как я хочу читать!..

Как я страстно хочу встряхнуться душой!

Сегодня, когда матери ушли к вечерне, я обошла все наши кельи и остановилась в чайной, где Лиза, сидя у окошка и положив ноги на соседний стул, работала и тихо напевала.

– Спой мне, Лиза, деревенскую песенку, – сказала я; она возразила было: а как услышат? но сейчас же устыдилась своего мгновенного малодушия и с загоревшимися отвагой глазами придумала пойти на отдаленную вышку. Она много мне пела симпатичным своим голоском, и печальный припев ее родной песни до сих пор звучит у меня в ушах: «Забранена, загонена, рано выдана!».

19-го сентября

Господь и теперь, как и всегда, сжалился надо мною. Правду кто-то заметил, что надо только уметь желать. Лиза сказала мне, что у одной покойной теперь монахини важного рода остался сундук книг. Часть их отдали в мир, часть продали на вес, а несколько книг за полной негодностью, ради только хороших переплетов, сохранились на вышке.

Это было давно, еще при покойной матушке-игуменье, и много усилий потратила я, чтобы напасть на их след. Конечно, я не смела благословиться искать их, и вот действительно за сундуком одной из новеньких лежит эта связка. С жадностью, с трепетом беру я в руки дорогие заношенные переплеты, защитившие от уничтожения эти книги, с замиранием сердца раскрываю их... Да, понятно, почему их забросили: они написаны по-французски. Игуменья Ювеналия покойная не знала иностранных языков и поэтому не понимала, что именно удержала на вышке. Две книги, старинное и прелестное издание Вольтера с гравюрами, «Chant du sacre» Ламартина и Фома Кемпийский**, что у меня есть

* Заговорить – здесь: договориться с кем-то.

** «Chant du Sacre, ou La veille des armes» («Коронационная песнь, или Канун битвы») – поэма французского поэта, писателя и политического деятеля Альфонса де Ламартина (1790–1869), опубликованная в 1825 году; была наполнена христианской (католической) символикой. Фома Кемпийский (ок. 1379 – 1471) – католический монах; вероятно, имеется в виду его известное сочинение «Подражание Христу».

по-русски. Я принесла все это в свою комнату, и теперь они надежно спрятаны. Я хочу посмотреть, что такое Вольтер, мысли которого так нравятся Михаилу Илларионовичу. Для того чтобы бороться с врагом, надо знать его оружие.

20-го сентября

Мне один монах как-то рассказывал, что ему знакомая барыня дала почитать спиритическую книгу; он в ней не нашел ничего нового или интересного, но, ложась спать, положил на нее свои четки, боялся; даже проснувшись ночью, подумал и положил еще псалтырь, чтобы злая сила не вырвалась из нее. То же самое хотелось и мне сделать с этими книжками. Я не понимаю, как можно кому бы то ни было увлекаться этими богопротивными остротами. Чему научит это легкомысленное кощунство? Мне кажется, что потребность в таком чтении похожа на пресыщенность в еде – пресыщение требует изощренной и неестественной пищи. Мне противно!

Мне сдается, что я коснулась чего-то нечистого, вражеского... а между тем, я не должна лукавить – я люблю остроумие, и некоторые страницы доставили мне удовольствие. Я чувствую, что это грешно... я так недовольна собою.

24-го сентября

Я отправила назад эти книги и поставила свечку Михаилу Архангелу. Отчего мне иногда кажется, что лучше не увлекаться обращением Михаила Илларионовича, предоставить его самому себе? Давно уж его нет здесь. Как бы мне хотелось жить хорошо! *Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит**. Много выражено этими словами, и они смывают с моего сердца впечатление французской извращенности.

Сегодня мне некогда долго писать. У нас ждут преосвященного, и мы в повязках и рясах должны быть настороже, чтобы в полном составе встретить его на лестнице. Вот, кажется, его карета... нет, это кто-то мирские. Все равно мне надо идти подавать чай.

25-го сентября

Машенька всегда заботится и печется обо мне, как любящая няня, хотя она Ммоложе меня года на три и совершенное дитя по представлениям о жизни. Я думаю, Мурильо брал для своих удивительных Мадонн именно такие лица: безмятежность души сквозит в них, ровный пробор разделяет ее каштановые волосы, ресницы длинные и темные, и взгляд такой заботливый и скромный. Мне так жаль, что никто не назовет ее никогда: мама! Материнское чувство так бы шло к ней, но почему же она... именно она, лишена навсегда этих самых возвышенных радостей и забот?

* Пс. 50, 19.

Я спросила ее, неужели ей никогда не хотелось пойти в мир?

– Ой, что вы! – сказала она с испугом. – Куда я отсюда пойду? Ишь, что вы! В мир... Да сохрани Господи... Ой, и худо в миру-то.

– Но неужели никогда никаких искушений? Машенька, как вы живете без них?

На это она возразила:

– Как в монастыре прожить без искушений?

– Ну что вы делаете, если оно явится?

– Дивья бы жить без искушений, – сказала она опять, продолжая свою прежнюю мысль, и потом, немного подумав, прибавила:

– Да ничего! Поскорблю немного, и все пройдет! Спаситель не велел унывать.

Я бы хотела ее уберечь от того, что испытала сама; мне жаль ее иногда; хотя она не нуждается в сожалении, но не жалею ли я в ней себя? Эта мысль меня теперь мучит...

О, Боже мой! Спаси меня, хочу я или не хочу!

26-го сентября

Иногда ничтожное событие, останавливая наше внимание, отвлекает нас от предчувствия или предвкушения чего-нибудь более важного или сокровенного. Не дожидаться нам было сегодня матушку в трапезу – у нас первое блюдо были селедки, что обыкновенно большая нам радость и редкость. Девора, придя сверху, объявила, что матушка не придет, все стали садиться, едва-едва дослушав молитву, и я взяла свою порцию, и тут только узнали, что матушку задержал Михаил Илларионович; он приехал неожиданно! Я уже сидела за столом на обычном своем месте у самого аналая, за которым мать Павла чувствительно читала житие; но я ни слушать ее не могла, ни есть; я ежеминутно оборачивалась на Лизу и Дашу, которые с молитвой на устах и с дымящимися мисками носились по трапезной; мне казалось, что они медленно подают. Луч солнца на желтом косяке окна, не освещая нашей трапезной, как бы дразнил меня, говоря о жизни вне этой душной мрачной комнаты. Все говорили вполголоса, но так как говорили все, несмотря на житие и пользуясь отсутствием матушки, то по трапезной стоял неясный гул голосов. Как он раздражал мое нетерпение! Хотелось мне увидеть скорее, что он? Пошатнулись ли его прежние убеждения, а вместе с тем глубоко в душе желание узнать, переменился ли он и ко мне? В высшей степени я дорожу его уважением, потому что оно бескорыстно. Я спросила Девору: что, не надо ли идти чай подавать? Но она, сморщив брови и наслаждаясь крошенками хлеба в молоке, сказала только: не! подождет!

А мне не дожидаться было, чтобы эта казначея скорее звякала в колокольчик, давая знать, что трапеза окончена. Но вот, наконец, с шумом отодвигается сотня стульев, помолившись, я иду, но медленно. Нелюбимая трапезная ша-

почка опять на мне, щеки горят, я сама не знаю, чего боюсь. Я, конечно, пошла по парадной лестнице, чтобы на случай, если он уйдет, встретиться; мы могли бы разминуться, пойдя я по внутренней лестнице, как мы всегда ходим. Я рассчитала верно; он уже прощался. Вот этот звучный густой голос, который в концертной херувимской отлично мог бы спеть соло. Мы встретились на площадке; он неожиданно улыбнулся, увидав меня. Но я видела, ему не хотелось обнаружить свою радость; зачем же это? В ней не может быть ничего дурного, всегда надо помнить.

– Я звал сестру в Заречье; мы все туда приглашены, – сказал он; – там освещают часовню; и вы приедете, я уже говорил об этом с сестрою.

– Спаси Господи! – отвечала я, кланяясь. Мимо нас проходили Даша и Лиза; но когда они прошли, я прибавила с улыбкой:

– Только вы меня не спросили? Удобно ли мне?

– Потому что вы должны приехать! ведь да?

– Да, – проговорила я невольно и невольно вздохнула.

– Вам надо взглянуть на белый свет, – прибавил он с видимой небрежностью на мой вздох. Мы расстались.

Боже! Неужели я бы не поехала! И я хочу ехать, так хочу! Матушка-игуменья ничего еще не говорила, но я и намекнуть не смею. Мне сегодня ничего не хотелось делать: надоело! Славу Богу, маленький перерыв в отчетных книгах, но вместо этого пришлось бы кроить крашенинные подрясники новеньким и показать, как починить старые. Я нашла-таки минутку пройтись к ограде вдоль реки. О, эта осень, эти прелестные, прозрачные дни, золотой воздух и шум пожелтевших полуобнаженных берез и здоровая свежесть и голубой блеск холодной реки! Какое уныние устоит перед ними – они похожи на молитву!

Машенька проходила мимо; я позвала ее погулять вместе, но она отвечала с нежной озабоченностью: недосуг теперь гулять... сами знаете – капуста! И правда – доносившийся от погребов визг – это поют псалмы девицы, рубя капусту. Машенька освобождена от этой работы, но предается ей из любви к искусству.

27-го сентября

Матушки-игуменья нет дома; она уехала с казначеей к преосвященному владыке. И я бы не прочь поехать, да подальше от начальства – лучше.

В первый раз я подошла к фисгармонии, коснулась клавиш; с тех пор, как я ушла из мира, я не играла, я думала, что и пальцы одеревенели. Я была совсем одна в огромной нашей зале, и я поддалась искушению... я сыграла «Ave» Шумана. Я сыграла эту музыкальную фразу два раза; звуки точно говорили! Потом то, другое, наконец, мою любимую сонату Бетховена. Крылошанки, привлеченные неслыханными звуками, робко оглянувшись во все стороны, на цыпочках вошли в залу. Лиза сказала:

– Что это вы играли... скучно! жалобно! Сердце так вон и просится...

Я отвечала: канты*, и когда проговорила это слово, едва сдержала рыдания, и потом, оставшись одна, долго плакала.

Нехорошо я вижу! Не так бы надо было жить в монастыре и не так я полагала начало. Не хочу никуда ехать, хочу обновиться душою, возвыситься и смириться в одно и то же время. Я взяла мою отраду: *Падение Адамово* Иннокентия** и долго читала, пока праздничный колокол не заставил идти к вечерне. Мы уже перешли в зимнюю церковь – пройти только коридор, и мы в храме. Мирских сегодня не было никого.

28-го сентября

Итак, я еду! Матушка-игуменья сказала мне об этом, но это известие не обрадовало меня, как два дня тому назад. Напротив, взволновало необычайно! Отказаться нечего и думать – все это считают большим счастьем, и многие завидуют, например, Девора, особенно она, постоянно провожает меня злыми взглядами. Меня пугает перспектива этой поездки – выглянуть на свет Божий! Какую еще я покажусь там? Там будет много народу... Сейчас машинально я взглянула в зеркало – я так бледна, так горят мои глаза. Ехать мне или нет?

5-го октября

И вот я опять дома! Когда я вернулась и вошла вчера вечером в свою келью, увидела знакомые вещи, вид собора из окна, освещенный луною, я подумала: я ли это! А между тем всего несколько дней... Видно, дорога мне послужила в пользу, все говорят, что я очень поправилась и посвежела. Но что в этом!

Когда мы ехали туда, непривычная дорога меня и развлекала, и утомляла; я боялась пошевелиться, чтобы не потревожить матушку. Мы молчали. Мы ехали лесом, откуда пахло вялыми листьями; луна, точно собираясь догнать нас, казалось, неслась за нами, мелькая в зелени сосен, я могла, сколько угодно, любоваться непостижимым величием ночного неба; и невольно мне припоминалось, как накануне, возбужденная предстоящей поездкой, я говорила с Машенькой о звездах. Ей не верилось, она не могла взять в толк, что это не свечи ангелов, как до сих пор думала. «Так неужто это всё миры?» – робко и недоверчиво говорила она, вытянув вперед шею, как утенок, в первый раз видящий воду, но заметно было, что с этим представлением о звездах для нее утрачивается поэзия прежних мыслей о них.

Когда мы ехали и колеса звонко стучали по остывшей дороге, и кучер наш, то помахивая кнутиком, то поправляя им шлею на которой-нибудь лошади, почтительно разговаривал с матушкой о вещах мне совершенно неинтересных,

* Кант (от лат. cantus пение, распев) – многоголосная песня.

** «Падение Адамово. Беседы на Великий пост 1847 года» – сборник проповедей Иннокентия (Борисова), архиепископа Херсонского (1800–1857, канонизирован Церковью в лике святителей в 2017 г.).

хозяйственных, – я думала о том, как Михаилу Илларионовичу несимпатично все духовное, как, по слухам, он долго сердился на матушку-игуменью за то, что она пошла в монастырь, и как страшно, что теперь он ищет сближения с нею. Прежде мне думалось, что это поворот к Истине в его душе... но невольно – никто, кроме меня, не будет подозревать об этом, – мне кажется, что в этом сближении я играю большую роль. Я чувствую это. Вероятно, и он думал обо мне в эти часы, потому что представление о нем постоянно носилось перед моими глазами. Я не знаю... образ был еще неопределенный в моей душе, без горя и радости, но исполненный щемящего предчувствия.

Заречье довольно живописно; оно расположено на горе, над быстрой судоходной Чолжей, как раз в том месте, где она делает излучину и весной очень разливается. Нам отвели прекрасную комнату с не засохшей еще краской, прекрасным видом и опрятными постелями.

Мы подъехали вечером, народ был на улице, только что отошла всенощная, к которой мы не успели, потому что не рассчитывали на неожиданный объезд. Было уже совершенно темно, только, отражаясь и дрожа в реке, горели огни в окнах, где помещались приезжий епископ и наш преосвященный; они уже удалились на покой.

Когда мы, расправляя уставшие ноги, намеревались выходить из экипажа, кто-то подошел к нам и помог матушке выйти. «Хотите чаю? пойдете к нам», сказал в темноте знакомый голос, но если бы он ничего не говорил, по тому, как он крепко взял мою руку, я знала, что это Михаил Илларионович. Матушка, услышав, что владыка уже у себя, не хотела никого беспокоить, сказала, что мы устали и, прежде всего, мечтаем отдохнуть. Я ничего не могла проговорить; может быть, я озябла, губы мои дрожали, и по скрипучим ступенькам мы поднялись в отведенную нам комнату. Встретить и проводить нас пришел наш голова, местный священник и помещик, усадьба которого тут неподалеку. Он-то и старался обставить такой пышностью освящение часовни. Я рада была, когда мы остались одни, хотя странное возбуждение меня не покидало.

О чем я молилась? Это была неясная мольба, чтобы не были обмануты мои неясные надежды... Только я скоро заснула под звук тяжелых листов, которые переворачивала, читая, матушка.

Меня разбудил тонкий и резкий звук пастушьего рожка, я открыла глаза – окна горели розовым сиянием, по стеклам, быстро высыхая, стекали капли. Ах, какое яркое, здоровое было утро! Так было все радостно и благочестиво кругом меня, вода Чолжи, когда я умывалась из чистого медного рукомойника, повешенного в углу, как будто возвращала мне красоту и молодость; никогда не была я так свежа! Я приготовила все, что нужно было для матушки, и потом, едва шевелясь, чтобы не мешать ее молитве, достала из корзины свою новую ряску с голубым подпольем, любимые четки, бархатную повязочку, которая больше всего идет ко мне. Все было так удачно, все удавалось, что ни подумаю. Из окна на противоположном берегу виднелась ровная просека в роще, и в кон-

це ее красная крыша усадьбы, где мы должны были обедать. Благословясь у матушки, я вышла на крылечко; множество народу на берегу, ожидая звону, двигалось, сдержанно говоря и пестрея нарядами. Я не знаю, где могло поместиться столько богомольцев. Новооткрытая икона славится в здешней местности чудесами. Мне одна баба рассказывала, что привела своего внука, только что вставшего от оспы, за 25 верст; бедный мальчик, кажется, едва жил; слезы постоянно навертывались ему на глаза, и бабка так ласково все его ободряет: пристал, кормилец! Я спрашивала некоторых, когда они шли, где ночевали дорогой?

Приходилось в амбарах, на досках, и тому рады были, что в холодную ночь крыша была над головой.

– И всё пешком? – спросила я старика, который с маленьким сыном прошел в два дня 130 верст.

– Так неужто, матушка, на богомолье да на лошади? – возразил он мне.

Велика религиозность в русском народе, против этого нельзя возразить, а кто скажет, говорит или неискренно, или не зная о чем.

Меня смущала немного встреча с приезжим епископом, который при первом благовесте вышел со второго крыльца, чтобы идти служить обедню. Я не знала, как держать себя с епископом в присутствии нашего владыки; мы ему обыкновенно кланяемся в ноги, а теперь которому из них или обоим вместе? Но вот, заметив епископа, затрезвонили во все колокола, я быстро вернулась в горницу, чтобы подать посох матушке, и вместе с нею вышла опять на берег.

Около преосвященных массой толпился народ, но наше одеяние заставило расступиться, и мы подошли под благословение. Я сделала, как матушка, поклонилась монашеским поклоном только приезжему епископу. Поднявшись, я увидела в толпе в некотором отдалении Михаила Илларионовича. В свите преосвященных вошли мы в сельскую церковь, каменную, большую, с драгоценным старинным иконостасом. Издавна жили в этой местности богатые помещики.

Обедня прошла для меня, как пять минут; так легко было на душе, что не хотелось ни о чем просить, а только безмолвно благодарить; и притом я очень люблю парадное служение. Михаил Илларионович стоял неподалеку; я сейчас же заметила это, хотя не смела замечать.

После освящения часовни мы все вслед за святителями шли в усадьбу, приподнимая длинные наши рясы, причем, качаясь, звенели мои голубые четки. Михаил Илларионович шел около меня; когда мы поздоровались, он спросил меня:

– Я видел, как вы молились... О чем просили вы так усердно? Если бы вы просили так меня, я бы все для вас сделал.

Мне хотелось сказать ему, что я вовсе не усердно молилась, потом вздумалось сказать: ну, так верьте, чему я верю, или напомнить ему, что нельзя ни о чем просить его так, как мы обращаемся к Богу, но вместо всего этого нерешительно молчала, и он продолжал:

– А я думал, глядя на вас: когда же вы снимете эти черные одежды?

Я внезапно остановилась, взглянув на него и вспыхнув до корня волос, так неожиданно смутило меня то, что он сказал.

– Что же в этом ужасного? – проговорил он, и за очками, несмотря на насмешливость голоса, ласково глядели умные глаза его.

– Никогда не может этого быть, – сказала я.

Сердце мое замирало.

– Отчего же не может быть?

– Разве я на время надела монашеское платье? Может быть, я недостойна его, но что сделала, сделала обдуманно.

– В ваши года и с вашей красотой нельзя обдумать этого дела. Нет, не принимайте это за банальность, – поспешил прибавить он, заметив, что я опять краснею.

Он долго смотрел на меня, и взгляд его был серьезен и почти суров, но так внимателен, что сильнее ласковых слов проникал в мою душу. Он точно проверял себя по отношению ко мне; мы оба были смущены и долго молчали. А между тем уже миновала березовая роща, вся горящая золотом своих листьев, и мы были в двух шагах от дома. Я, наконец, спросила, чтобы удержать уходящие драгоценные минуты:

– Зачем вы это мне сказали? Не испытываете ли вы меня?

– Ах, нет! – проговорил он, усмехаясь. – Мне и в голову не пришло бы испытывать вас. Всякий человек с головой на плечах сказал бы вам то же. Вы созданы, чтобы быть счастливой...

– ...Разве для меня возможно мирское счастье?

– И любить! и выйти замуж! – сказал он настойчиво, перебивая меня. – В одном этом и есть реальная жизнь, а все другое обман, миражи...

– Лучше быть счастливой там, – проговорила я с неизъяснимой тревогой в душе, когда мы вслед за другими подымались по широким каменным ступенькам усадебного крыльца.

– Я того не знаю, – возразил он с усиленной небрежностью; но она была притворна. В его глазах горела жизнь, его губы мне улыбались так доверчиво, так преданно! Неудержимое ощущение жизни и веселости охватило меня. В просторной уютной гостиной нам подавали чай в старинных чашках. Матушка представила меня приезжему епископу, который высоким ростом и важной осанкой выделялся между всеми, и приветливый взгляд его все озарял улыбкой. Он был очень милостив со мною, спросил, давно ли я в монастыре? откуда? не рановато ли? и прибавил шутливо, обращаясь к матушке и махнув рукой: «Всё эти игуменьи молоденьких в келейницы выбирают!». Потом еще он сказал мне с напускной серьезностью, указывая на матушку: «Смотри, вот с кого пример надо брать!» – на что матушка опять ему поклонилась, и я проговорила, как требовал того этикет наш, робко опустив глаза:

– Благословите, владыко святой!

Отчего весь этот день проникнут был жизнью... я сказала бы – счастьем, если бы это слово болью не отзывалось в моей душе. Одно меня неясно и тяжело тревожило. Отчего в разговоре с Михаилом Илларионовичем я недостаточно твердо и определенно возражала ему, я точно готова была допустить, что для меня возможен вопрос о мирском счастье. И у апостола Петра не достало твердости, зато он и плакал горько, а я наслаждалась малейшими подробностями этого блаженного дня. Внимание приезжего епископа меня веселило так, что я меньше, чем обыкновенно, боялась нашего благочинного. Слава Богу, и день был скоромный, обед прекрасный, давно я ничего подобного даже не видела и все старалась замечать, чтобы рассказать нашим девицам.

В этот день я увидела в первый раз, как велико в обществе значение Михаила Илларионовича. Даже наши преосвященные слушали все, что он говорит, внимательно, как равного, отчасти как высшего, потому что он недавно приехал из столицы, где по своему положению близок ко всему высокому и в очень хороших отношениях даже с «господином нашим», главным владыкой – митрополитом. Когда он начинал говорить, все замолкали и слушали его. Как мне нравятся манеры его, такие свободные и вместе прекрасные. И сейчас у меня перед глазами, как он вскидывал к глазам золотое *pinse-nez*, как он вполоборота закинет голову или уронит белые руки на колени и слушает задумчиво и слегка печально.

Мне он представляется ребенком с душой, прекрасно одаренной, но без руководителей и надежд.

Старинные комнаты этой богатой усадьбы напомнили мне хутор дяди Коли, особенно потемневшие картины с заткнутыми за них пучками когда-то старательно засушенных и полуистлевших трав и широкий балкон с видом на Чолжу. После обеда мы пошли в угловую гостиную, и я у окна любовалась золотистой и прозрачной рощей. Я знала, что Михаил Илларионович должен на следующий день надолго ехать в Петербург, и мне хотелось поговорить в последний раз в жизни. Он угадал мои мысли и подошел ко мне.

– Скажите мне что-нибудь, – проговорил он.

– Нет, я все о своем, – сказала я. – Разве вы не можете допустить призвания к той или другой жизни?

– Не могу, не понимаю, – проговорил он. – Все человеческие решения редко, редко непоколебимы на четверть часа. Если бы наши мысли и порывы имели способность навеки закрепощать нас, какова была бы жизнь! Мы разве постоянно не ошибаемся? Представьте себе, что человеку в жаркий день приятно окунуться в холодную воду, и он решит, что хорошо всю жизнь в ней остаться...

– Вы не понимаете меня.

– Поверьте, поверьте мне, – сказал он горячо, не слушая меня и играя моими четками, которые, неизвестно как, перешли в его руки из моих. – От жизни надо брать все, что она дает, пользоваться ею, насколько возможно; в ней так мало чем стоит дорожить. Ваш сегодняшний успех... Ну, посмотрите в зеркало.

Я с усилием подняла веки, на которых точно тяготело очарование, но на него, а не на зеркало, и машинально смотрела, как он навивал на пальцы мои голубые четки.

– Отчего вы посмотрели на меня с таким упреком? – сказал он.

И я проговорила с глазами, полными слез:

– Потому, что вы меня искушаете. Я думала, что это шутки. Разве вы не можете понять, что ни мысли, ни желания невозможно допустить о какой-нибудь перемене. Снять нельзя никогда этого платья; я его надевала с молитвами и благословениями...

– ...Ну так что ж?..

– И я довольна моей жизнью. Я пренебрегаю теперь другой.

– Вы? довольны? – возразил он с злой насмешливостью. – Это одно при творство! Одно лицемерие!

Теперь я уже простила эти слова, но тогда – как они казались мне невыносимы и горьки! Я проговорила дрожащим голосом, и слезы навернулись на мои глаза:

– Вы допускаете? во мне?

– О чем же плакать? – сказал он вдруг так тихо и нежно, что я едва разобрала его слова.

Мне теперь странно, как никто не подошел в эту минуту, никто даже не оглянулся на наш продолжительный разговор, хотя комната была наполнена гостями. Матушки, правда, не было в это время.

– Дайте мне мои четки, – сказала я, улыбаясь сквозь слезы.

– Нет, оставьте их мне на память.

В вечерню я не молилась за себя; вся молитва моя была за Михаила Илларионовича, чтобы Господь его просветил, утешил, умилил. Как было хорошо в этот вечер! Зажгли лампы в больших комнатах, ужинали долго и оживленно, хотя это оживление, во внимание к духовным лицам, было очень сдержанно. Но так уютно, светло, радушно!

Нечаянно я увидела себя в зеркале – и почти себя не узнала!

На одно мгновение мне вспомнились родные, Сергей Сергеевич. Что бы он сказал, *такою* увидев меня?

Наутро все разъезжались чуть свет и потому разошлись рано. Михаил Илларионович сказал мне еще:

– Я думаю, прав я, но, может быть, и вы правы... Но это не мешает нам ценить друг друга, не правда ли?

– И быть друзьями, – прибавила я.

– Нет, какая дружба между нами? – возразил он, и его слова меня бы огорчили еще раз, если бы не тон их, неуловимый и задумчивый. Я *знала*, что он не хотел обидеть меня ими.

Утром мы простились и уехали наскоро. Было холодно, бурно и пасмурно. Тот же самый лес уже не производил впечатления, как прежде. Но в душе, каза-

лось, приобретено сокровище, так она была полна миром и желанием счастья всем людям. А я... я буду счастлива самоотвержением.

IV.

10-го ноября

Неужели это я с глубоким умилением написала последние слова? Где это настроение? Как мне кажется теперь уныло жить. Ах, темные силы не дремлют... Свет не сияет постоянно в моей душе, и чувствую я себя не совсем хорошо, силы идут на убыль, если бы только телесные, но, что всего хуже на свете, душевных сил все меньше и меньше. Отчего я постоянно беспокоюсь? Отчего устаю? Отчего за молитвой одни слезы? Минутами мне кажется, что я бедное и нежное дитя, заблудившееся в дремучем лесу. Никто-то меня не пожалеет, никто не понимает меня.

Теперь я богата, вопрос о наследстве кончен и дня на три, на четыре мы с Машенькой ожили и пировали. Но я скажу правду: возможность делиться с другими и утирать чужие горькие и миру невидимые слезы доставила мне меньше удовольствия, чем я ожидала. Душа моя так отуманена, так стеснена. Но Машенька блаженствовала. Давать и соображать, кому еще дать, приводило ее в восхищение, пока, наконец, матушка не положила предела нашим тратам. Мой капитал теперь у нее, и я располагаю только процентами. Но и их много. Двести рублей в год по здешним понятиям – огромное богатство.

Но мне кажется, я охотно бы вернулась к тому времени, когда раз, усталая, придя от утрени, я узнала от Марфуши, что последнюю напойку чая надо отдать Нимфодоре, и я с наслаждением взялась за квас с сухарями, смеясь и радуясь тому, что это лишение так легко перенести!

«Как больно мне! Как горит моя старая рана!»

Я помню такое же время поздней осени на моей родине несколько лет тому назад. Я тогда имела право любить... Я помню, как пылал камин, в который мы бросали еловые шишки, как широкое отражение пламени трепетало на ярком ковре, как вился дымок сигары, как я держала на коленях книгу и читала стихи наизусть, не глядя, а потом, взволнованная, молчала несколько времени. В противоположном углу приветливо горела большая лампа; около нее несколько родных голов, наклонившихся к столу, и тонкие тетушкины пальцы в кольцах, перекидывавшие нитки изящного вязанья. Сергей Сергеевич повторил вполголоса и с особенным выражением то, что мы читали:

Без вас хочу сказать вам много,
При вас – я слушать вас хочу.*

Но вместе с тем я не помню ни одного дня своей жизни, когда хотелось бы остановить время. То я боялась за будущее, то какое-нибудь воспоминание тре-

* Из стихотворения Лермонтова «А.О. Смирновой» (1840).

вожило меня... Я с детства готовилась к чему-то, чего сама не сознавала. Вот теперь все достигнуто мною. Я не могу сказать, что жизнь моя кончена, она не прекратилась, но завершена – перемен в ней больше не будет. А я не спокойна; я жду чего-то, как и прежде.

Здесьняя печальная осень – темница для моего воображения. Отчего я не могу молиться, как еще недавно молилась, отчего меня не радует, а тяготит какая-нибудь случайная красота в природе? Подобно Саулу, я жажду звуков, только не мирской музыки; одно представление о ней раздирает мою душу. Боже! Когда же это желаемое пробуждение в загробной жизни, свидание со своими, райские одежды, тишина, радость, блаженство?

Достигну ли я этого?

Машенька – это мой Давид, ее наивное спокойствие нежно удаляет с моей души тревогу; она не тоскует, как я, не смущается, доверчиво послушна Иларии... Я же не могу быть послушна матушке – мы с нею, к несчастью, не понимаем друг друга. Она добра ко мне, как только возможно благородной, возвышенной душе; но она при этом слишком в меня верит. На днях у нас вот какой был коротенький разговор:

– Вера Николаевна! – обратилась ко мне матушка как бы колеблясь, когда я снаряжала ее в церковь.

– Благословите, матушка.

– Что это как вы худеете? Отчего вы так скучны?

Когда я молчала, она, подождав, прибавила:

– Не завелся ли у вас какой червячок в душе? Не приглянулся ли вам кто?

Я почувствовала, как обмерла, как медленно сбежала с лица краска и сердце остановилось.

– Я не подозреваю вас, – сказала опять матушка, приняв мои дрожащие губы за оскорбленную гордость. – Нет, я не могу в вас ошибиться...

А между тем... О, Боже мой! Если бы сказала матушка: я знаю, вы способны на то и на то, на все самое дурное, – с каким бы торжеством воскликнула я: нет, не способна! А считать меня лучше, чем я есть... Но ведь я человек... я человек! И, вместе с тем, матушка и не подозревает, как она близка мне, с каким душевным содроганием я смотрю иногда на жесты ее нежной руки, как ее голос меня волнует... Что бы случилось, если бы еще в этой жизни сокровенные наши мысли были открыты всем.

15-го ноября

Оленьку привели, наконец, к нам: кто-то уже надел на нее траурное платье; ей, видимо, понравилось, когда я обняла ее, это Богом данное нам дитя.

– Ты знаешь, матушка, – сказала она мне, – я теперь совсем сиротка.

Действительно, какое трагическое положение. Одна, пятилетняя крошка, закинута судьбой от родителей, на далекую сторону с бабушкой, которая не-

ожиданно умерла. Родители, по-видимому, о ней не заботятся, и она о них ничего не знает. Матушка очень была тронута, когда Оленька, сначала внимательно наблюдавшая за всеми, вскинула на нее свои темно-карие глазки и с расстановкой сказала: «Ты будешь теперь моя мама?». Она как игрушка для нас всех; все по очереди ею забавляются, поставили вокруг нее варенье, апельсин, нанесли всяких безделушек.

17-го ноября

Сегодня первый прочный снег, и матушка отправилась к преосвященному Спо первопутке на санях. Когда мы вернулись от ранней обедни, совсем уже рассвело, и я увидела, как бело кругом. И в комнатах стало веселее, и на душе. Этот ровный белый свет на всем, приветливо пылающие печи, горячий кофе, все беззаботно, мирно. И прелестная наша девочка все оживляет. Я не могу на нее налюбоваться, на белизну ее личика, на веселые темные глазки, на характерный носик с горбинкой, и улыбка такая приветливая и милая. Матушка позволила мне купить ей куклу, какую только нашли в городе.

22-го ноября

Сегодня уехали наши сборщицы. Вот истинные Христовы трудницы. Пять месяцев вдвоем они будут за сбором разъезжать по деревням. Копейки редко где подают, все больше хлебом или холстом. Там вынесут горсточку овса, здесь ржи, – они все собирают в мешки по сортам и потом продают; холста, случается, много привозят домой. Помимо усталости и скуки, они подвергаются многим опасностям, особенно в глухих местах. Еще недавно, верст за пятьсот отсюда, убили двух сборщиц. Как мы боялись, пока не узнали, не наши ли это? Как молились! Матушка даже плакала.

Слава Богу, я немного пришла в себя; все хорошо теперь; не буду даже допускать внутреннего взгляда на душевную жизнь, буду жить сегодняшним днем, как живет наше чудное дитя, которое наполняет большую часть моего времени. Кажется, Оленька останется у нас навсегда. Матушка списывается с ее родными, возьмут ли они ее к себе или оставят у нас. Она уже научилась говорить единственные слова, которые должна знать монахиня: простите, матушка! благословите, матушка! И говорит их, так серьезно складывая губки. Дни у нас бегут неимоверно быстро, может быть, потому, что *дня* совсем почти не видно; в четвертом часу мы зажигаем огонь и долго слышим однообразное пощелкиванье щипцов, которыми мы снимаем нагар, столпившись у одной свечки за работой. Матушка находит, что сальные свечи выгоднее стеариновых, хотя их привозят за тысячу верст, они стоят то же самое и к тому же скоро очень сгорают.

Я хожу ко всем службам, потому что обстановка церкви с ярко мерцающими в темноте огоньками лампад, шорохом одежд при поклонах и церковном пении удивительную тишину наводит на мою душу.

3-го декабря

Иларии у нас больше нет. Это – Иннокентия, и день, когда этот переворот совершился, полон новых впечатлений, ужаса, сомнений и благоговения в одно и то же время. Три дня тому назад ее постригали, и пять суток после этого она должна пробыть в церкви. Машенька носит новопостриженным – их троих постригали – кушанье в церковь, читает им правило и молитвы, и даже ночью, говорила мне, не может спать, так и тянет ее к ним, окруженным таинственной благодатью. Я заглянула сегодня ночью тоже в церковь, в ее полутьму, где наши новые монахини, словно тени, с флером наметки, опущенной на лицо, видимо, боролись с дремотой, сидя прислонившись к скамейкам. Машенька – точно сама новопостриженная, так восторженно светится ее лицо и возбуждение не дает устать. Она читала, держа восковую свечку в руке, отчего на ее кротком лице было красноватое отражение пламени, и ее чистый, как свирель, голосок один нарушал тишину этой печальной и торжественной ночи.

И страх, неясный, но сильный страх перед своей совестью, перед будущей жизнью и ответом нелюбимому Судии заставил меня тогда стать на колени и молиться со слезами.

Когда в прошлое воскресенье в начале обедни поставили на солее два налоя и запели: *Объятия отча...** – дрожь пробежала по мне от долгого ожидания и от неизвестности. Я пострижения никогда прежде не видала. Медленно приближалась Илария, три раза простираясь ниц, причем две монахини, ведущие ее, покрывали ее своими мантиями. Не знаю, как жутко мне было видеть это шествие; так и хотелось мне крикнуть на всю церковь: «Подождите! Подумайте о том, что вы делаете!».

Но вот она взошла на амвон, крестясь с выражением страха Божия на лице, по которому торопливо стекали крупные слезы. Поверх подрясника на ней накинута была белая рубашка, седые волосы распущены по плечам, и ноги в одних чулках.

Многие из нас плакали, и я рыдала тоже, когда наш благочинный, преосвященный Афанасий, прочитав установленные молитвы, спросил, своей ли волей она постригается, желает ли она сподобиться Ангельского образа, обещается ли до последнего издыхания остаться в постничестве, хранить себя в целомудрии, слушаться и почитать матушку, терпеть скорбь и тесноту, голодать и жаждать, «и укоритесь, и уничтожитесь и изъядетесь», и многое другое спрашивал он и давал наставления, читал прекрасные молитвы, на что все приступившие к пострижению монахини отвечали дрожащим голосом: «Ей, Богу содействующе, честный отче!», давая при этом многие и многие обеты...

Наконец, три раза преосвященный давал Иларии ножницы, говоря: «Возьми ножницы эти и дай мне»... И, с благословением отрезав у нее прядь волос, он уже назвал Иларию новым именем и потом, принимая от матушки-игуменьи

* «Объятия Отча отверсти ми потщися...» – седален (песнопение), поется в Неделю о блудном сыне.

части монашеской одежды, подавал новопостриженным, называя надетые на них суконные рубашки хитоном вольной нищеты, парамон – образом нетления и чистоты, крест – в воспоминание страданий Спасителя, рясу – ризой радования, пояс – силою истины в умерщвление тела и обновление духа, мантию – как одежду чистоты и нетления, камилавку – шлемом спасения, сандалии – чтобы благовествовать мир и четки – меч духовный. Давая каждую из этих вещей, преосвященный приглашал клир молиться за постриженных: Господи помилуй! И наконец, каждой из новых монахинь дал крест и большую зажженную свечу, с которыми они и достояли обедню перед царскими воротами.

Сомнение меня гнетет не оттого, чтобы я раздумывала, хорошо ли это. По трепету ужаса и счастья я чувствовала, что хорошо, точно Илария-Иннокентия приоткрыла для себя дверь в будущую жизнь и устроилась так, чтобы как можно легче и совершеннее приготовиться к ней.

И матушка-игуменья, пошутив над тем, что я так близко принимаю все к сердцу, сказала мне тоже:

– Мы живем здесь, чтобы приготовиться к жизни будущей, мы отрешаемся от земной и не принадлежим ей более, то же ждет и вас – не теперь, когда-нибудь... Поэтому, без слез, но с радостью будем готовиться к этому приготовлению.

Но и на это я могла отвечать матушке только слезами; я не смела сказать ей моих рассуждений, что может ли человек давать такие обеты, хоть и прибавляет постригаемая, что при помощи Божией, но все-таки, не значит ли это отвергнуться совершенно не только всего природного зла в себе, но и отвечать на все будущее, в то время как мы не знаем даже того, что будем чувствовать через минуту? Ведь в один час исправиться или измениться я не могу.

Не лучше ли исполнить, как нерадивый сын притчи, который сказал: не пойду – и пошел!*

Боже мой! Я не прошу у Тебя разумения высших истин, потому что не смею думать, что пойму их; но, мой Господь, чтобы мне не понимать их ложно. Боже мой! Претвори мое сердце в доброе и мой ум сделай светлым, Ты свет миру – я в вечной темноте и большой муке, потому что не вижу Тебя.

Кротости и смирения, молю, пошли мне... Услышь меня, Боже, когда я прошу Тебя о всех, кто дорог моему сердцу... и отведи от них руку злого духа.

8-го декабря

Скучный зимний вечер давно наступил, когда мы вернулись от вечерни и сели все вместе у большого стола за работой. Я могла бы безошибочно рассказать, кто что делал теперь по кельям, исключая манатейных монахинь, которые теперь у правила.

Саша списывает ноты, Лиза вышивает заказную подушку, Сонюшка вяжет

* Мат. 21, 28–32.

перчатки, Ольга торопится, может быть, до прихода старицы дочитать мирскую книжку, Паша, дежурная канонница, твердит стихиры, которые будут петь завтра, – в окно тоже глядит монотонная картина, все запушено снегом, деревья, точно узорным серебром, покрыты инеем; под его тяжестью не двигаются ветви, в слободских окнах горят огни и месяц в туманной высоте, едва заметный, но светлый, как будто указывает на иную жизнь. Все тихо и скучно было кругом нас, но мои мечты были спокойны и сладки. Беззаботна и ясна жизнь, в которой нечего желать, кроме хорошего конца, и теперь, кроме него, я ничего не желала, ни к чему не стремилась в видимом мире. Мне удалось победить большое, большое искушение... В моем уме тихо передвигались красоты летней природы, бесстрастное воспоминание о том прекрасном, что мне случилось видеть в миру, спокойные надежды на то, как мне придется прийти в тот мир... Мы все вздрогнули, когда хлопнула входная дверь и охрипший голос произнес:

– Крещеные, есть ли здесь кто, аль нет?

И Ириша-почтальон со смехом появилась между нами, вся заиндедевшая, с ковровым мешком, в котором она носит письма, и с большой посылкой для матушки-игуменьи. Эта посылка была от Михаила Илларионовича и касалась отчасти и меня. Он прислал мне несколько книг. Я очень благодарна ему за доброе намерение, но матушка, увидав, что книги мирские, просила меня не читать их, и я без всякого сожаления отдала ей их все.

10-го декабря

Разве я не могу любить Оленьку так, как мать? Разве необходимы для этого узлы родства? Когда я читаю с ней вечером молитвы или по утрам одеваю ее, первая встреча ее улыбку, или, взяв ее на колени, рассказываю ей сказку, разве моя нежность к этому ребенку меньше оттого, что мы не родные? Кроватька Оленьки поставлена в матушкиной спальне, потому что решено – она остается у нас навсегда. Видно, в матушке был большой запас нежности и большая потребность привязанности, когда все это излилось теперь так обильно и неожиданно на наше милое и шаловливое дитя.

12-го декабря

Все так сегодня развлечены были баней, что чуть не прозевали преосвященного. Он приехал так неожиданно. Матушка отдыхала, я расчесывала Оленьке головку, вдруг от ворот впопыхах прибежала Аннушка, и по всем нашим кельям прокатилось, точно эхо: «Тошнёхонько! Преосвященный!.. ой, родные, не найти повязки-то! не поспеть и рясу-то накинуть!» и тому подобные возгласы. Оленька тоже очень суетилась, не забыли бы ее нарядить, однако, благодаря тому, что преосвященный, увидав отворенный погреб и в нем экономку, которая что-то прибирала, неожиданно зашел туда посмотреть, какой там порядок, и, сопровождаемый Евстолией, заглянул в кухню, – мы все успели и принаря-

диться, и собраться, в ожидании его, в передней, так что при его вступлении в парадную дверь в полном составе поклонились ему в ноги. Оленька очень мило приняла его посох и догадалась поцеловать его руку.

– Что, не надоел еще вам? Уж очень часто заезжаю, – приветливо сказал он, на что Девора слышнее всех пролепетала, точно всхлипнув: как можно, владыко, уж так рады, так...

– Девицы, чаю нам скорее! – оживленно сказала матушка.

Когда я вошла с чашками в гостиную, он забавлялся разговором с Оленькой, которая, видимо, умничала и отвечала степенно, что в ней большая редкость. Его лицо не красиво, но умно, и, обращенное к Оленьке, приняло незнакомое мне еще в нем выражение задумчивой доброты.

– А вот это новая письмоводительша, – сказала про меня матушка, и он сделал мне несколько вопросов, откуда я родом, привыкла ли к монастырю, сказал, что одно время был настоятелем монастыря в моем родном городе. Вот кого он мне напомнил: инспектора нашего в институте, которого все очень боялись, особенно за его урок, и любили его, хотя он был недостижим для нашего институтского «обожания». Он внушает невольное доверие, кажется, можно на него положиться, кажется, он способен все понять, *все*. С ним говорить легко, хотя это и начальник. Он спросил меня, люблю ли я читать и работать, и прибавил, что для того, чтобы с успехом жить в монастыре, надо непременно любить какое-нибудь занятие, что в миру праздность вредна, а в монастыре она – гибель.

Его посещение все-таки было у нас событием, и по случаю его на монастыре ярко горел единственный фонарь, что придавало необычайный и уютный вид всему.

15-го декабря

Схоронили мы наконец старушку мать Арсению. Долго не умирала она, наскутила всем, но мы проводили ее торжественно, серьезно и чинно. Отпевание снова меня поразило, точно я слышала его в первый раз; длинные, темные ряды монахинь, сколько их есть, стояли, как в заутреню, со свечками в руках, без слез и воздыханий, с клироса неслись дивные напевы, говорящие о смерти, и лучи солнца, врываясь в высокие, мелко переплетенные окна, так ярко лежали на полу, говоря о жизни... Я тоже не хочу, чтобы плакали, когда я умру. Смерть – это освобождение, это новая жизнь не для младенца без разума и воли, а для взрослого человека, умудренного опытом.

Условия нашей монастырской жизни как нельзя более облегчают переход в ту, неведомую жизнь – отречение своей воли, удаление от соблазнов мира и, главное, определенные выработанные правила, как думать и как жить. Наша земная тревожная жизнь мимолетна, и все же хочется приготовиться достойно к будущей, когда сравнительно так немного дано на это времени. Я теперь

только начинаю понимать спокойствие матушки – видно, и она бестрепетно ждет конца.

И сомнения мои насчет пострига рассеяны. Ведь это условия, а не сущность, которая одинакова для всех, тем более, как говорит Иннокентия, – всё, забывая, зовешь ее по-прежнему Иларией, – при крещении даются такие же обеты за новорожденного, как и при постриге. Она говорила мне еще, что шесть суток, которые новопостриженные проводят в церкви, не то что тяготили или мучили ее, а прошли, как обедня, и что только эти часы в ее жизни были истинно хороши.

7-го января

Праздники быстро промелькнули, несмотря на усталость, которая их сопровождала. Только что уехали от нас гости матушки-игуменьи и окончилась ярмарка. На ней все наши, разумеется, перебивали, хотя разнообразия товаров совсем не было: постное масло, да мед, да кожи, интересные для нашего брата только пряники да раззолоченные чашки. Мне некогда и неохота было идти, тоже Христа славить я не ездила с клиросными. У нас это считается большим развлечением – на мир взглянуть, везде угощают. Но по монастырю пройтись вечером, когда матушка откушает и станет на молитву, для меня возвышенное удовольствие. Я по-прежнему люблю быть одна с природой. Снег хрустит и светится белизной своей под моими легкими шагами, я хожу по дорожке между двумя стенами снежных сугробов, все молчит; от огней в окнах я перевожу глаза на далекое темное небо, в котором горят миры. Мысленно хотелось бы унести к ним; а не знаю, какое желание томит душу... Я завидую нашим послушницам, которые очищают снег с могил или ездят на дальние полянки разрывать из снега зароды сена. Я бы хотела работать так же, чтобы не осталось места мысли.

Добрая наша матушка спросила меня на днях, здорова ли я, вероятно, поймав бессознательно тревожный взгляд, которым я смотрела, как едва вставшее солнце задело розовым лучом уголок крыши, покрытой пушистым снегом.

– За ваши святые молитвы, матушка, слава Богу.

– Да вы кушайте побольше, – сказала матушка, – и не дичитесь так людей... На людях скорее спасетесь, а в одиночестве какое спасенье, тут и от гордости недалеко.

Но матушка ошибается, думая, что я горжусь или дичусь. Иногда, правда, люди кажутся мне мелочны, но меня всегда тянет к ним, и я люблю и смех чужой, и веселье, и нашу общую работу, и наивные пересуды, и наши маленькие невинные тайны. Нет, я здорова, но я устала жить. Я похожа на человека, совершенно собравшегося в дальнюю дорогу, который ждет не дождется поезда или экипажа, энергия его ослабевает, ему и ехать хочется, и думается, уж не остаться ли, и в то же время ужасно неловко в этом напряженном ожидании. Наша жизнь так однообразна, в ней совсем нет впечатлений, сегодня, завтра и

вчера все одно и то же. Я тупо перечитываю старые книжки, работаю мелкое рукоделье, бессознательно молюсь, но без усердия.

Одна Оленька вдыхает в меня жизнь. Когда она обопрется о мои колени и поднимет на меня свои светлые глазки, в которых все – простота и правда, мне хочется, чтобы она не росла, не превращалась бы во взрослую девушку с тоской и порывами, а осталась бы навсегда такой, как теперь. Я вижу удивление на ее серьезном личике, когда иногда, прижав ее к себе, не могу скрыть слез на моих глазах – меня волнует невинность ее души.

Матушка-игуменья тоже почти постоянно держит ее у себя, и я тогда приношусь в спальне с консисторскими книгами. Нам обеим нравится, что по кельям видно присутствие ребенка – то кукла забудется где-нибудь, то поднимется беготня и хлопанье дверей, нередко капризы и звонкое ее пение. На нее уже надели рясочку и повязку в самый день нашего престольного зимнего праздника Рождества Христова. Как она мила, когда приходит к матушке на поклон или несет по церкви, идя перед нею, ее настоятельский посох. Даже суровый наш благочинный, видимо, тронут миловидностью Оленьки. Никогда, если придет кого или матушка побывает у него, не забудет для ней гостинца. Мы с нею с каждым днем привыкаем друг к другу. Господь по милости своей как бы в ответ мне, когда я унывала, поставил передо мною это чистое дитя, живое дело, земную цель в моей жизни.

14-го января

Зачем мне было говорить с Машенькой о железных дорогах, телеграфах, о том, как печатаются книги, то небольшое, что я знаю об астрономии? Мне хотелось о чем-нибудь говорить, что вне нашей жизни. Машенька слушала меня сначала охотно и внимательно, пока не устала слушать. Все было для нее ново и дивно, ведь из нашего города она никуда не выезжала с трех лет, с тех пор, как она в монастыре. Но когда я кончила говорить, она потупилась и робко произнесла: «мне сдается, нет ли тут вражеского?» т.е. сатанинского. А между тем темные глаза ее горят, когда я говорю ей или читаю выдержки из сочинений Иоанна Златоуста. Что могла бы сделать культура для такой души, и вообще, что сделала культура для души? Она расширяет понятия, смягчает внешние нравы, мешает людей между собою, но делает ли она людей добрее, религиознее? тверже в жизненной борьбе? *Истина сделает вас свободными**, но истина не в том, чтобы жить *удобнее*, а в том, чтобы жить *лучше*.

Когда мы замолчали, я долго смотрела на снежинки, которые одна за другой, точно нехотя и беззвучно, падали и падали с неба. Каждая из них в микроскопе – чудо красоты, а между тем, исчезает бесследно. Не гораздо ли более прекрасным был создан первоначальный человек, вовек живущий, а между тем, что мы теперь? Мы сами осквернили, испортили, уничтожили красоту в себе и с каждым днем умножаем силу беззакония.

* Ин. 8, 32.

24-го января

Сегодня случайно у Иннокентии зашел у нас разговор, хорошо ли, т.е. можно С ли уйти молодой девушке из монастыря, чтобы выйти замуж. Машенька, конечно, молчала, и по ее глазам видно было, как ее тревожили мои слова. Тут были Ириша-почтальон и мать Агния, которая до сих пор не может отвыкнуть от своего ко мне обожания.

У нас поднялся этот вопрос потому, что такой случай был в одном из недалеких от нас монастырей, и Агния с Иннокентией ужасно судили молодую монашенку; Ириша же горячо ее отстаивала, на что мудрая наша старица Иннокентия отвечала спокойно, а Агния чуть из себя не выходила.

– Подумайка-сь, родная, – нараспев говорила она резким своим голосом. – Христовой невесте, да Жениха своего променять, такого Жениха! Ириша! Да в уме ли ты! Да я, ну кто хочешь посватайся, не пошла бы! Самый первый вельможа, и то бы не пошла! – с увлечением говорила она, забывая, что ее круглой приземистой особе более шестидесяти лет и всегда лоснящееся лицо ее даже смолоду не было хоть сколько-нибудь привлекательно.

– Нет, послушай, – сказала ей я на это, едва удерживаясь от смеха при словах Агнии, – послушай меня. Ты знаешь, что брак – таинство и что честный брак очень одобряем святыми отцами... – тут Машенька встала заглянуть, не случился бы кто у дверей посторонний. – Отчего же не выйти, ведь послушнице же! не манатейной монахине, даже не указной*?

– Никогда счастья не будет! никогда! – азартно прервала меня мать Агния, даже замахав рукой, но Иннокентия, энергично вздохнув и испытующе и пристально взглянув на меня из-под очков, степенно и разумно сказала:

– Нет, барышня! В нашем быту не может этого быть... Нам одно только таинство – перед аналоем простираться да волосы постригать... Уж если надел рясочку, так ее не снимет. Нет, моя матушка! Мы избрали благую часть – лучше мудрыми-то девами быть**.

Очевидно было ее волнение при этом и как будто она говорила на всякий случай и на мой счет.

– Но вот Машенька, например, с детства ведь не своей волей в монастыре, ну, случится, не дай Боже, полюбит!

– Ой, что вы! – со стыдливим ужасом произнесла Машенька.

– Не надо допускать! вот что! на то и воля нам дана, и примеры святых...

Когда я шла от них домой и красный луч заката, на мгновение ослепив меня, остановился на моем лице, я думала о Михаиле Илларионовиче, что сказал бы он, услышав, что я говорила так. Слава Богу, он теперь далеко, и в окно успокоительно глядит неподвижная голубоватая ночь.

И не к себе же я это применяла, а к молодой девушке, не выдавшей жизни.

* Монастырские послушники и послушницы до 1917 г. делились на указных и неуказных. Указные определялись в штат монастыря по указу духовной консистории.

** Имеется в виду евангельская притча о пяти мудрых и пяти неразумных девах (Мф. 25, 1–11).

Никто, думается, выше меня не ставит монашества, *но оно должно быть добровольно.*

3-го февраля

Тихие дни текут один за другим, не принося с собой ничего, но они стали длиннее и так постоянно хороши. В кабинете опять шьется ковер, так что я не одна за письменным столом. Мы все больше молчим, тихо мелькают над канвой бледные Машенькины руки, и золотые лучи яркого солнца пробегают по ее каштановой головке. Солнце жжет меня иногда, его лучи точно прикасаются к моему сердцу и будят его: проснись! проснись! Но для чего? Несмотря на то, что весны еще в слухах нет, по выражению Иннокентии, я предвижу ее приближение, особенно когда вечер наступает; небо как в огне, долго остается розовый блеск на снежных крышах, потом все гаснет и быстро синее небо. Михаил Илларионович вернулся из-за границы, вчера матушка получила от него письмо; старшая дочь его вышла замуж. Хотела бы я... нет! я боюсь взглянуть на них. Судя по фотографии, это совершенные красавицы и так изящны! Говорят, они до того привыкли к Ницце, что не хотят сюда возвращаться, предпочитая жить на два дома, а Михаил Илларионович не может бросить своих имений и до этого года служил предводителем. Что бы ему приехать сюда ненадолго? Мне скучно! А опасности нет никакой – она побеждена, раздавлена... Все же бы мы поговорили, мы люди если не одинаковых понятий, то одинакового языка и воспитания, и притом взаимно независимы. С благословения матушки и по ее выбору я выписала себе книг. Вот блажь нашла на меня! Я бы теперь не прочь заглянуть в мирскую книгу. Искушение!

Я помню, в детстве не могла переносить весны – томность ее впечатлений приводила меня в слезы, а теперь мне бы хотелось видеть расцвет и блеск, и шум теплых дней. Пост уж не за горами.

6-го февраля

Мне сегодня в церкви причудился Михаил Илларионович, и сердце замерло, замерло... Но я успокоилась, когда увидела, что ошиблась. Это кто-нибудь приезжий, но облик общий и особенно затылок с такими же седеющими волосами... Книги мои пришли, и я их разбираю сегодня с благоговением. Особенно я рада Фаррару*, которым восхищаюсь: я брала его у матушки.

10-го февраля

Но книга наполняет только тогда жизнь, когда она собой вытесняет какие-нибудь впечатления. Те, что я теперь читаю, прекрасны, увлекательны, но

* Английский богослов и историк церкви Фредерик Уильям Фаррар (Farrar, 1831–1903); благодаря переводу его основных произведений на русский язык («Искатели Бога», «Жизнь Иисуса Христа», «Жизнь и труды святого апостола Павла» и др.) его имя стало популярным и в России среди образованных классов.

они не слышат того, что мне в свою очередь хотелось бы им сказать. Мне еще скучнее, когда лучи не видного из нашего корпуса солнца бледными кругами падают на снег, без блеска его местами озаряя; лошади везут голубоватый лед одна за другой, понуро опустив мохнатые свои головы. Все, что я вижу теперь из окна, совершенно такое же, как и пятьсот лет тому назад. Даже одежды наши не изменились... Что сделать мне с избытком моих сил, как двинуть жизнь? Я считаю как бы долгом своим ходить по больным, стараться их утешить, но чего мне теперь стоят чай или просвирки, что я даю? где усилие? где умиление одержанной над собой победы? где теплое милосердие? Его нет, и отрады мало от этого.

Оленька в восторге, что и ей сшили трапезную шапочку; ее уже научили перед переменной блюд, поклонившись матушке со своего места, сказать: матушка, все откушали. Сейчас она весело побежала звать матушку в трапезу, и мне надо идти. Боже мой! Я все одна... Слава Богу, несколько месяцев тому назад я победила большое искушение – я чуть было не полюбила, но скажу правду: мне и теперь дорого, что человек, хотя противоположных убеждений, но развитой и умный, оценил и мой ум, и мою душу. Как внимательно всегда он меня слушал, глаза его точно проникались моими словами.

Вне любви разве не может быть других отношений между людьми, друг другу симпатичными? Ведь помимо сердца, почти никогда не рассуждающего, есть ум, которому тоже необходимо сочувствие. Было бы очень холодно на земле, если бы люди избегали таких простых потребностей, как обмен мыслей и рассуждений.

12-го февраля

Почти все замечательное в жизни бывает неожиданно. Мы вернулись от Победни, пообедали, и наступило коротенькое неопределенное время перед работой, когда не то отдыхаешь, не то соображаешь, что делать. В окно я увидела, что Илья-кучер налаживает крытые матушкины сани, и, конечно, задумалась о том, куда она едет. В эту минуту Оленька от нее прибежала взять меня, и матушка сказала мне: я еду к преосвященному, и вы со мной; намедни он спрашивал об отчете.

– В повязке, матушка, благословите или в платке?

– Конечно, в повязке, что вы! к благочинному...

– Матушка-игуменья, а меня-то? а меня-то? – приставая, сказала Оленька.

Матушка нерешительно взглянула на нее, потом на мое лицо, в котором выражалась молчаливая просьба, и проговорила: ну, хорошо! ступай, наряжайся! И вот мы точно сравнялись с Оленькой годами, обе с радостью бросились одеваться, хотя ехали к начальству. К преосвященному как-то жутко было ехать, мы все его дичились (в отношении ко мне это уже прошлое), – а так прокатиться по прекрасной зимней дороге, выехать вместе с матушкой, увидеть другие стены...

И вот у ворот поклоны привратницы матери Амфилогии, вот миновала наша часовня, причем часовенная Соня выбежала с такой поспешностью, точно боялась пропустить наш поворот и хотела догадаться при этом, куда мы едем; вот собор с куполами, точно покрытыми серебряной чешуей, вот городок с его печалью и радостью, и вот наконец прозрачная высокая липовая аллея и в глубине ее уютное здание с широким башенным крыльцом, к которому в первый раз я подъезжаю как гостя. Веселый келейник, в одном подряснике, несмотря на мороз, кинулся нам навстречу, в одно и то же время высаживая матушку и требуя ее благословения.

– Что, преосвященный у себя? Не отдыхает?

– Как можно, ваше высокопреподобие! Пожалуйте! Только что откушали и почту разбирают.

– Здравствуйте, матушка, – сказал он мне, – здравствуй, здравствуй, старица, – Оленьке.

– Так ты, Илья, приезжай за нами через часочек.

– Слушаю, матушка, благословите.

Я в первый раз видела преосвященного у себя по-домашнему в желто-красном подряснике; без клобука он кажется ростом еще меньше, менее суровым, таким простым, не гордым.

– Ну, спасибо, что приехала, а то я посылать думал, – и затем пошли хозяйственные разговоры о консистории, о последнем пожертвовании, о грибах, которых много выписали с Дону и нам к посту могут уделить, а я тем временем, почтительно и молча сидя в уголку, наблюдала свое начальство. Они оба казались так спокойны, точно вопроса о довольстве жизнью, о беспредметной тоске не могло явиться им на ум; к тому же совершенно другими глазами смотрела я на преосвященного, чем прежде. История его жизни и страданий, его стойкости в том, что он считал правым, его замечательных умственных трудов мне известна. И так хотелось проникнуть: где нашел энергию этот невысокий, с первого взгляда невзрачный человек отклонить от себя *по принципу* большие почести и кончать свою жизнь в этом тихом углу, где ни по образованию, ни по уму у него не могло найтись товарища? Где секрет этого глубокого ненапряженного спокойствия, разлитого и по его старинным, со сводами, жарко натопленным кельям, и на молодых лицах его келейников, с такой веселой живостью накрывающих чайный стол, и в его собственных глазах, пронизательных и утомленных? Взгляд их не равнодушен, как я думала прежде, нет, он *снисходителен*.

Вот что хотелось бы мне разведать: была ли борьба в его интимной монашеской жизни, тоска, смятение, уныние? В миру все это могло быть – он потерял в короткое время жену и ребенка, потом еще двух сыновей-подростков. Вечер его дней, мне кажется, похож на безмятежно сияющее море, поглотившее некогда в своей глубине много-много чего.

Мне бы хотелось всю душу мою обнаружить перед ним без всякого ограничения. Долго я присматривалась к нему, пока они говорили с матушкой, раз-

говор их был все о житейских делах, но мирские страсти были далеко от этой мирной кельи, они не могли бы заглянуть сюда.

Но Оленька! Как она нас всех забавляла! Преосвященный, кажется, очень рад был ее видеть. Она сначала прелестно вела себя, поклонилась до земли вслед за нами, крепко держа в ручонках четки; когда преосвященный сказал: не дать ли тебе пряников, она скромно промолвила: благословите, – и, получив большой пряник, так мило сказала, как она еще не совсем чисто говорит: исполла эти деспода!* Но на этом и кончилось ее благонаравие.

– Тебе жарко, – сказал преосвященный, сняв с ее темной головки тяжелую бархатную повязочку, и своей старческой белой рукой пригладил ее волосы. Это как бы послужило знаком, что она может не стесняться. Через минуту ее четки уже были забыты на стуле, а сама она без всякой памяти, что на ней ряска, бежала по кельям, все разглядывала и перебирала, причем ее широкие рукава, подбитые сиреневым шелком, как крылья, вздымались за нею. Я колебалась, идти ли за нею, остаться тоже было неловко, но преосвященный в это время сказал:

– Ну что, братец Михаил Илларионович выдал дочку? сам скоро сюда будет?

– Не знаю, владыка, ждать или нет, – сказала матушка, разумеется, не подозревая, что у меня при этом дрогнула душа. – И то мне уж очень не по душе, что он выдал Катю за католика.

– Что ж, не наша ведь воля, – проговорил владыка, аккуратно убирая счетные книги и очки свои в сторону, и потом прибавил с насмешливым недоумением, таким тоном, что если бы он говорил так обо мне, мне было бы и больно, и горько: – Дивлюсь я на Михаила Илларионовича, кажется, Бог не обидел – человек умный, ученый, как так в его лета вольнодумствовать? Сдается мне, что все это одно притворство, малодушество.

Мне казалось, что преосвященный, говоря это, смотрит на меня, заметив, как пылает мое склоненное лицо. Осторожно я подняла на него глаза, но он смотрел в другую сторону, не обращая на меня внимания.

– Я вот не знаю иногда, как поступать, владыко, – между тем сказала матушка. – Молчать боюсь; начнешь говорить – как бы самое драгоценное отдаешь на поругание.

– Нет, мать Ефросинья, молчать, так камни возопиют, – решительно ответил преосвященный. И глаза его при этом сверкнули, точно вся душа его выглянула в них. – На Тя, Господи, уповахом, да не постыдимся во веки...** Как это молчать?

В эту минуту внесли самовар, и я пошла за Оленькой. Она забралась в келейную, где старый ее приятель по мирской жизни, маленький нищий Васютка, был принят посошником и пока жил у преосвященного.

* *Ис пола эти, деспота* («На многая лета, владыко», греч.) – песнопение православного архиерейского богослужения, пожелание епископу многих лет жизни.

** Слегка измененный стих Пс. 70, 1: *На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся в век.*

Владыка велел мне разлить чай. Оленька, сидя около меня, хохотала без всякого стеснения, хотя зажимая рот рукой, но глаза ее так смеялись, что невольно все улыбнулись.

– Чего ты? забылась! – сказала матушка, строгим взглядом стараясь остановить ее.

– Да как же, матушка, – наконец со смехом проговорила она, – Васютка в подряснике; я ему говорю: что, больше не собираешь? А он: я, говорит, монах! Васютка-то наш: я, говорит, монах!

И опять хохот. Преосвященный, видя, что матушка смущена и недовольна, послал Оленьку сказать, чтобы принесли пирога, оставшегося от обеда, а сам заметил матушке:

– Оставьте ее, тем дитя и хорошо, что правдиво. А только она слишком жива, много будет с нею хлопот.

– Да, не знаешь, как и вести ее, – сказала матушка, видимо, довольная, что ее любимица оправдана и не рассердила преосвященного. – Нервна она, строгостью как бы не повредить.

И правда! На Оленьку невозможно сердиться! В ней есть что-то такое милое, что примиряет со всеми недостатками.

– Что ж тебя в мантию не наряжают? – шутя спросил ее преосвященный, когда она кончила свой чай и лакомства, и Оленька при этом вопросе капризно надула губки.

– Да не хотят, – сказала она, нетерпеливо дернув плечиком.

– Видно, ты не заслужила?

– Эво! не заслужила, – насмешливо перебила она с забавным выражением, – мать-то Фаина только и умеет, что чулки вязать, а небось, в мантии, а мне Верушка вышиванье показывает...

– Ну что ж, переходи к нам жить, хоть к Федосье-коровнице, мы тебя живо оденем, – с решительностью сказал преосвященный.

Оленька вскинула было на него глазки, проверить, не шутка ли это, но мы все старались смотреть серьезно, и она, зная, что значит для нас приказание владыки, подумав немножко, вздохнула и сказала:

– У вас духовник строгий... со мной не скоро сладишь: я как заведу капризы...

– Мы тебя уйдем, – с притворной строгостью сказал преосвященный и отпустил ее со мною в залу, позволив посмотреть альбомы и картинки.

В «зале», большой комнате с такими же, как в других кельях, точно нависшими сводами, большими портретами царей и архиереев, было чисто, много свету, удивительно опрятно. Белые стулья, выкрашенные масляной краской, и пол, кажется, только что покрыты лаком. Когда я вернулась в гостиную, я заметила, что, должно быть, раньше был обо мне разговор. Преосвященный с такой добротой стал расспрашивать меня о моей жизни в монастыре, о том, что я читаю, с готовностью ли занимаюсь воспитанием Оленьки. Как душа

моя отдыхала в этой обстановке спокойствия и дружелюбия! Преосвященный сказал между прочим: «Пойти в монастырь не диво, а мудро в нем достойно удержаться». Мое восхищение сочинениями Фаррара не нашло в нем большого сочувствия; он заметил мне, что на каждой его странице виден протестант; особенно не нравилось ему, что Фаррар называет Марию Магдалину Марией из Магдалы; а мне наоборот он и нравился так оттого, что я вижу в нем сходство с православием! впрочем, конечно, я не могу судить вернее преосвященного. Он пригласил нас в кабинет, узенькую, длинную комнату, чрезвычайно оригинальную своей постройкой, с большим венецианским окном на каждом конце ее; меня поразило множество его книг, и уже без страха к нашему суровому благочинному, а с глубоким участием я смотрела на скромную обстановку, на ветхое глубокое кресло у окна, на двуцветный вязаный коврик, закапанный воском, у киота, на «план для ума», который я заметила мельком с подчеркнутым в нем несколько раз изречением: *неосуждение первый путь к спасению*.

– А вот, – сказал владыка, – охотно читаете и видно с толком, так вот вам книжечка. Я ее получил от автора и часто отдыхал за нею!

Я чуть не со слезами поцеловала его щедрю руку, ведь он дал мне «Великий пост» несравненного, незаменимого архиепископа Иннокентия! Ах, так хорошо верить одинаково, чтить один и тот же идеал – это редкий луч солнца в нашей суровой жизни!

Когда мы возвращались домой, были уже сумерки, снег шел непрерывно; густые хлопья над нами и кругом нас точно отчуждали наши крытые сани от всего мира; в них тесно сплоченные были матушка, я да Оленька, нам тепло было в наших просторных шубах, легко на душе и так хорошо! Мне было жаль, когда мы приехали.

13-го февраля

Буду ли я отвечать Богу за то, что случилось? Но если надо отвечать, я готова! За всенощной в кафизмы было так душно! Мне хотелось пить, и я пошла в кельи, еще в дверях встретилась мне Лиза и показала мне, смеясь, как незаметно в широком рукаве рясы спрятала чайник с водой, за которым ее послали с клироса. Я шла по коридору из церкви в совершенной темноте, ощупью находя знакомую дорогу. Признаться, я задумалась, с глубокой этой думой распахнула в кельи дверь и переступила порог, не подымая головы... И вдруг он передо мною, он, Михаил Илларионович!

Он взял мою руку и при свете лампадок целовал ее много раз, и так неожиданно это было, так безумно, так странно. Он со мною... один... это безмолвное признание – и тут я только поняла, как тяжела была для меня разлука.

Да, это случилось. Я и сказать не могла ничего – сначала я не догадалась отнять руку, но потом бросилась в коридор и, дрожа всем телом, вернулась

в церковь. Забыв о службе, я стала класть поклоны, слезы лились из моих глаз, и ужас меня волновал – но только в одном я признаюсь самой себе: какое угодно наказание я готова принять за это мимолетное мгновение. Я не могу жалеть о нем, а между тем на мне монашеское платье... нет! я все же одинокое и жалкое дитя, которому необходима ласка! Когда он приехал? Отчего не предупредил? Отчего ни слова не сказали мы друг другу? Оскорблен ли он моим бегством, думает ли, что оскорбил меня? Надолго ли, надолго ли он со мною?

Когда истомленная я шла за матушкой из церкви, Машенька подошла ко мне и, с участием глядя на мою бледность, на слезы, которых я скрыть не могла, с восхищенным одобрением прошептала: «уж и молитвенницы-то вы! уж и трудницы!». Я – молитвенница! я – трудница! Боже! Боже! Боже!

14-го февраля

В то короткое время сегодняшней ночью, когда я наконец заснула тревожным сном, я видела на мгновение во сне мою старицу, как живую. Будто она, возвращаясь из церкви, распахнула дверь нашей бывшей кельи и захлопнула ее за собою. И так ясно: окно отворено, и от этого движения двери вспорхнула моя шерсть, и мать Маремьяна уже стоит около меня, подпираясь палкой от усталости, и лицо ее, ну совершенно как у живой, худое и сморщенное, с тонкими и прямыми чертами. Она сказала всего эти слова: а я молюсь за тебя! да! – и когда я проснулась, не верилось, что столько перемен в моей жизни, и старицы моей уж нет со мною. Однако присутствие ее было очевидно. Она это, она приходила ко мне. Попечение ее это обо мне? или предостережение? Но я сама не своя этот день. Эта тихая грусть поставила перед моими глазами прежние мечты. Как я далека от них. Как мне стало страшно за себя, и вчерашнее происшествие совершенно другим образом представляется мне.

Я удивляюсь самообладанию Михаила Илларионовича. Он встретился со мной, правда, при других, но с шуткой на устах и так спокойно, точно ничего не было; но и мне было не так стеснительно, как бы следовало ожидать, – сегодня я уже другая. Таинственные душевные перевороты не всегда подчинены времени, иногда довольно нескольких минут, и помощь нам всегда приносится из другого мира. Откуда – я не знаю. Ему хотелось, чтоб я на него взглянула, я чувствовала это. Но я прошла мимо него по наружности спокойно и смиренно, но все существо мое, даже шлейф моего подрясника, тянувшийся по полу, меня связывал и стеснял!

Когда я проходила, он, небрежно разговаривая с матушкой-игуменьей, раза два взглянул на меня и в рассеянности несколько раз повторил одно и то же слово. Я ушла к Машеньке, чтобы уже никак не встретиться с ним. Победить большое искушение можно только сознавая, как оно велико.

Вечером в 9 часов

Я не знала, что он еще вернется сегодня, т.е. не надеялась на это. Коротенькая праздничная вечерня скоро отошла, кончилось и правило. Оленька встретила матушку, возвратившуюся из церкви, и принялась щебетать в ее спальне, я опустила шторы и принесла свечку и щипцы. Так обыкновенно и монотонно мы ждали ужин, – и Михаил Илларионович приехал.

Прекрасно было мое настроение утром, но почему, когда он, собираясь уезжать, шел к своей лошади, я очутилась на его пути? Как случилось это? Какая сила, как будто помимо моей воли, поставила меня на снежной дорожке, на которую от луны ярко падала моя тень?

– Вы все казните меня за вчерашнее? Отчего вас не видно? – вот что приторно весело и немного раздраженно сказал он, когда мы встретились при блеске луны и в первый раз взглянули друг на друга.

– Я рада, что вы приехали, – произнесла я дрожащими губами, хотя совершенно не то хотела и должна была сказать.

– Не верю, теперь не верю! – отозвался он с насмешливой небрежностью, но его глаза смотрели в мои глаза, он взял мою руку, и его слова не оскорбили, на мгновение они испугали меня и вместе с тем страшно обрадовали.

Вот все, что мы сказали друг другу, но утреннего настроения во всеоружии долга, но живого воспоминания о старице моей как не было. Что делать! Я люблю его.

19-го февраля

Я вышла от обедни незаметно перед самым концом, чтобы поспеть переодеться для подавания чая. У нас в чайной ярко светило солнце, на столе разостлана чистая красная скатерть, самовары блещут, как золото. По всем кельям разнесен запах вареного кофе, и только что пронесли из кухни горячие пышки. Вот уж подлинно праздник.

И на сердце он у меня был, и надежда меня не обманула, – мне сегодня так весело. Прибежала в новом подряснике и голубом поясочке Оленька; я подозвала ее и приласкала. Она еще стояла, приложившись к моему плечу своей головкой, когда наконец стукнула парадная дверь, заставив меня вздрогнуть, и вот этот голос, вот взгляд его, – отвечать безмолвно на них – целое блаженство! Мы были на мгновение одни, и я сказала с упреком, который затерялся в звуке моего голоса:

– Зачем же вы не пришли к обедне?

– Потому, что я молился бы на вас одну... Ведь вы хотите правды?! – прибавил он, видя перемену в моем лице, и произнес еще очень тихо, с душевной тоской: – Моя вера, моя душа – это только вы!

Нет! я не могла бы быть нелицеприятным судьей! Не могу его судить, ни себя, ни осуждать что-нибудь. Он любит меня, светит солнце, – и я живу.

Прощеное воскресенье, 26-го февраля

Михаил Илларионович уехал, и потому последние дни масленицы тянулись так долго. Все радуются блинам, но что в них за радость! Завтра великий пост, и я не увижу его, может быть, всю неделю, если он даже и приедет, да если и увижу, то мельком, в церкви, какие уж тут разговоры. У нас сегодня, пока из города доносятся колокольчики катанья, перемывают щелоком всю как есть посуду, чтобы смыть все скоромное, и не только нашу верхнюю, но все в кухне, даже котлы и скамейки. Целый день идет народ на кладбище, у кого здесь есть родные могилки, «прощаться с родителями». У преосвященного торжественнейшая в мире вечерня, поют Пасху и прощаются все друг с другом.

За нашей вечерней, когда священники поклонились большим поклоном всему народу и матушка-игуменья то же сделала, – у меня защемило сердце: эти поклоны – преддверие покаяния.

За ужином читали в трапезе молитвы на сон грядущий, и опять начались поклоны и целованья. Кланялись матушке-игуменье, потом друг другу. На несколько минут вслед за другими я вышла из трапезы. Как хорош был вечер. Снежинки у ног моих сверкали, как роса на заре; я подняла глаза – в небе высоко стоял серп месяца, нежно озаряя серебряные купола, и южную сторону забора, и могилы, вторично погребенные под сугробами снега. На гладко вытоптанной дорожке, белой, как свет, медленно передвигались, расходясь, черные фигуры и их резкие тени. А моя душа между тем не хочет как следует каяться.

28-го февраля

Как это еще Господь матушке помогает! Вчера целый день, сегодня и завтра кроме чаю, да еще раз в день, ничего! А службы-то при этом так длинны и утомительны три раза в день. Однакож устала бедная наша матушка. Сегодня она, отдавая мне камилавку и рясу, едва держалась на ногах, и жест ее при этом был так благородно-грациозен, и римский профиль так важен и задумчив, и темно-синие глаза смотрели томно, ничего перед собой не видя, точно это не игуменья сурового монастыря, истомленная великопостными днями, а изящная большая дама, пресыщенная светской сутолокой. О, матушка! Как она мне близка!

Сегодня отец Михаил прочел разрешительную на еду молитву, и у нас в трапезе был для малодушных, слабых и молодых обед всухомятку. Это очень чувствительно после масленицы, но потом привыкаешь. Бедная Лиза! В прощенное воскресенье поставила за окном кувшин с молоком, чтобы выпить его после ужина, но девицы вздумали в десять часов вечера пить кофе, чтобы помянуть мешковенье, по-мирскому – мясоед, а Лиза о молоке и забыла. Вчера оно точно дразнило ее своим видом, когда колокол так монотонно благовестил к часам. Мирских у нас в церкви много, потому что канон так торжественно читает о. Михаил, с таким чувством произносит он каждый стих, причем в конце

его голос замирает и прерывается слезами, а на клиросе протяжное, жалобное и страстное пение: помилуй мя, Боже, помилуй мя! надрывает душу. Прочитав слова: *погубих ума красоту...**, отец Михаил заплакал... Поэтому эти слова врезались мне в память. Красота ума – это, мне кажется, чистота мыслей, и как редко ее можно сохранить незапятнанной.

Боже, как у нас поют: *Господи Сил, с нами буди...*** Это пение восторженно и отчаянно, точно человек, наконец, обратясь к одной помощи Божьей, все, что ему дорого, как жизнь, бросает на алтарь в самоотверженном порыве.

Мы все обязаны ходить эту неделю к утрениям, и поэтому я очень утомляюсь. Выходя из церкви, чтобы не обнаружить слез умиления, я шепнула Лизе: что это, как вы нас сегодня своим пением разжалобили, а она засмеялась – всегда готова на это! – и отвечала мне: да ведь тошнѣхонько! есть-то небось хочется!

3-го марта

Что значит покаяние? Признать: да, я грешна, или сказать твердо – этого не будет! Но искренно невозможно так сказать, если есть грехи, не зависящие от нашей воли... Когда божественная мистическая музыка при пении: *Да исправится...**** наконец растопила мою душу, мне припомнились слова Машеньки, сказанные по другому поводу: а вы боролись? Она сказала их, когда я раз жаловалась на то, что, рассердившись на кого-то из сестер, не могла победить своего гнева. Как она сказала тогда: а вы боролись? И эти совершенно простые слова меня образумили. Я вообще была серьезно настроена за обедней. Когда пели: *се бо входит Царь Славы...*****, я упала на колени в ужасе от себя самой. Когда Оленька вышла с антидором и, подражая старшим, стояла неподвижно, потупив глаза, я думала со слезами: о, дорогое дитя, умри рано! Не иди в жизнь, не жди ее, жить так тяжело и мудрено!

Нерадивая раба и ленивая! Я надела эту одежду нетления, чтобы, очистив свою душу, за грешный мир стоять, как свеча перед Богом, а между тем, что в душе моей! Какая горькая тоска в предчувствии приближающейся весны! У нас снег еще не тронут, но птицы яростно кричат в прозрачном воздухе, и дни так светлы, и зори так длинные, и в небе нежно-зеленое отражение. Не для меня праздник жизни!

5-го марта

Читая «Великий Пост», книжку, подаренную мне преосвященным, я составляю себе понятие о нем самом по заметкам, сделанным на полях его рукою.

* *Вообразив моих страстей безобразие, любостластными стремленьми погубих ума красоту* («Отобразив в себе безобразии моих страстей, сластолюбивыми стремлениями искажил я красоту ума»). Из части покаянного канона преп. Андрея Критского, читаемого в первую неделю Великого поста.

** Великопостное песнопение, составленное на основе 150-го псалма.

*** Пс. 140, поется на Литургии Преждеосвященных даров во время Великого поста.

**** Из песнопения «Ныне Силы Небесныя» на Литургии Преждеосвященных даров во время Великого поста.

Как во весь рост встает передо мною его сильная душа. Вот именно правда, как называет владыку матушка-игуменья – *непреклонным в вере*. А я хочу повторить о нем то, что Фаррар говорит об Афанасии Великом: *отличительным свойством его религии была верность*.

О, как бы хотелось мне преклониться перед ним, дать заглянуть в свою душу, чтобы он мог ее очистить и пощадить и простить...

7-го марта

Да, Михаил Илларионович сам помогает мне бежать от огня. Зачем говорит Д он мне, что задача жизни – наслаждение. Зачем с улыбкой возражает, когда я доказываю ему, что задача жизни – бежать земных наслаждений? Зачем, когда я упоминаю слово Бог, он говорит чуть ли не с пренебрежением: ну, к чему метафизика?.. И зачем при этом его голос так благозвучен и нежен, зачем так настойчиво его глаза ловят мой взгляд, зачем с задумчивой тоской он произносит иногда: как сложно и как скучно жить!

11-го марта

Довольна ли была бы Машенька мной, если бы видела все – и слабость моих Д сил, и громадность искушений?

18-го марта

Михаил Илларионович должен сегодня обедать, и я изнемогаю от усилий М победить волнение. Какая беготня поднялась! Все рады его присутствию, кроме меня. Даже главная повариха Таисия, приложив палец ко лбу, глубоко-мысленно говорит при каждом моем появлении в кухне: «Любят ли то-то или вот то братец матушки? Дивья бы скухарить, только бы по вкусу пришлось... Все-то у нас постное»...

Вот тень бегущей лошади на снегу... вот кучер его в алом кушаке, – вот он приехал.

Вечером

После обеда я не могла, не удостоивала принять участие, когда наши делили в чайной остатки; я смотрела в окно, чтобы не видеть, как Девора в полном удовольствии сжимала в руке хвост селедки. И в эти минуты, после обеда, когда на душе было так томно, эта ослепительно белая картина при бледно-голубом золотистом небе, пушистый снег, заново накануне покрывший реку, серый ряд изб, и узоры ветвей, и воздух, тревожный и мягкий, как все казалось полно поэтичной и обманчивой красотой!

– Всё чего-то думают! – проворчала Девора в мою сторону, брезгливо вытянув губы.

Боже мой! Отчего молодая душа вне всякой логики! Ведь уж решено было – конец и разговорам... и даже мысли о нем, но когда спустя полчаса матушка-игуменья просила ей дать отдохнуть, и под пустым предлогом он зашел в мою комнату, он взял книгу – Фаррар это был – и торопливо и, по-видимому, бесцельно переворачивал страницы...

– Что вы теперь читаете? – спросил он, хотя его глаза были устремлены на то, что я читаю, и я не могла отвечать, потому что у меня остановилось сердце.

Но вот что он сказал неожиданно прерывающимся голосом:

– Зачем мы избегаем друг друга? Что пользы?

– Я избегаю... – я хотела сказать: избегаю потому и вот почему, но он проговорил с таким ожесточением, и губы его дрожали:

– Да, вы! вы! Где нет истинного чувства, там мы придумываем всегда страшилище грехов и преград.

– Нет истинного чувства! – Я произнесла это с ужасом; я чувствовала, что бледнею, и вместе с тем меня бросило в жар, так что я задыхалась. Он взял мою свесившуюся руку, и несколько времени мы молчали от невыносимого волнения. При том же меня тяготило опасение, что кто-нибудь позовет или войдет, помешает, и невыясненное недоразумение останется между нами, когда он уйдет.

– Ведь это все равно, что магнит и железо, – сказал он опять и вздохнул, точно не хватало и ему воздуха, – тянет друг к другу – и не разнять!

Я взглянула на него, и из глаз моих полились слезы, как ливень в душное грозовое утро, и он притянул меня за руку и поцеловал меня... повторить эти мгновения, изобразить их невозможно. В отворенную в залу дверь я слышала пронзительно каждый ничтожный звук – как тикали большие часы, в чайной собирали чай, отодвинулась задвижка матушкиной двери, и она сама, тяжело ступая, шла по гостиной, Оленька прыгала и болтала около нее – и все это одна минута, и запечатлелось на всю жизнь, на многие думы, многие слезы.

Когда я подавала чай, не смея поднять глаз, и внезапно встречала его взгляд, – сочувствия этого нельзя выразить, оно неуловимо! Оно восторг и тайна! О, молодость, даже и в мои годы! О, красота жизни! О, нелепая и неотступная жажда счастья!

Господи Боже мой! Ты видишь мою душу, в которой есть тоже частица Твоего Божества! О, Всеблагий! Предвечный! Что значит перед Тобою это черное платье и затворы моей кельи, что значат эти условия, выдуманные нами? Позволишь Ты любить его? Жена его? Но разве я не знаю всю силу закона над ними, хотя они и не живут вместе? Разве возможно допустить во мне какие-нибудь низкие побуждения или дурные цели? Но в любви, которая безгранична и вся воодушевлена желанием добра и спасения, разве есть грех именно потому, что ее признали словами? Господь не судит узко, как мы.

Я только что взглянула в окно. В нем все тихо, неподвижно, бело, в небесах же туман, легкий и прозрачный, и в нем вся в сиянии луна; она точно скользит,

то закрывается, то блещет, отражаясь в крестах, и возбуждает в душе моей теплые надежды.

20-го марта

За утреней я оглядывала нашу церковь, как вдоль стен, сидя на скамеечках, старицы дремали, не выпуская из рук четок; тихо звучали они в руках молодых послушниц, слышен был шорох одежд при поклонах, темные группы там и тут двигались и слегка шептались. В темноте ярко сверкало золото окладов, освещенное свечами; в окне уже был виден бледный рассвет.

С клироса неслись так стремительно и восторженно покаянные песнопения. Вот открылись царские врата, и я упала на колени и закрыла лицо руками, стараясь подавить слезы. Когда я подняла голову, утреннее солнце уже заливало окно, птицы подсакивали на подоконнике, отряхая снежинки, блестящие, как брильянты. Сила жизни охватила меня безотчетно и страстно... Смысл личного счастья, любви не казался мне больше эгоистическим безумием.

21-го марта

Мы встретились на площадке нашей парадной лестницы, где при повороте Мое можно стоять незамеченными. Он спросил меня, знаю ли я, что чувства налагают обязанности?

– Какие? – Я произнесла тихо это слово. Не столько то, что он говорил, сколько звук его голоса, таинственный голос его души заставлял трепетно слушать, что он скажет. Он сказал:

– Я скажу по-вашему – больше нет любви, как если кто душу свою положит за други своя*...

– А разве я не положила души? – проговорила я с улыбкой.

– Нет, еще нет! – сказал он с большой нежностью, порывисто прижав мою голову к своей груди. Я думаю, этих минут никогда нельзя забыть. Я все слышу его слова, особенную силу их нежного выражения: нет, еще нет! При этом мне чрезвычайно сладостна мысль, что он противоречит себе, значит, пошатнулся несколько в прежних убеждениях. Он признает обязанности, а прежде он отвергал грехи. Где же логика? Обязанности предполагают законы, «а грех есть беззаконие»**, говорит Апостол.

26-го марта

Мне бы хотелось, чтобы люди знали меня такую, какова я на самом деле. Матушка-игуменья, Машенька, Иннокентия, Лиза все на ложной дороге. Тоже, если бы преосвященный судил бы меня по своему пронизательному

* Ин. 15, 13.

** 1 Ин. 3, 4.

взгляду, а не по тому, что матушка, любя меня, говорит обо мне! Именно преосвященный, если бы взглянул на меня, как на грешницу, вдохнул бы в меня покаяние или смирение! Его непреклонный суд, я уверена, был бы милосерд! Вот какая разница между ним и матушкой: матушка, если ей жалуются, говорит обыкновенно: я не люблю наушников! не верю наветам, не верю! Она не верит в зло и в черноту души. А преосвященный, наоборот, когда услышит о чьей-нибудь проступке, своей ли братии, у нас ли, всегда скажет: бывает и хуже того! Но если от сердца покается, простится ему!

Сегодня он был у нас, пил чай и с такой приветливостью говорил со мной о чтении, о монашестве. Матушка игуменья – спаси-то ее Господи! – советовалась с владыкой, не постричь ли меня в рясофор – слишком большая для меня честь и притом – о Боже мой! я боюсь! я не хочу! И преосвященный сказал, что я слишком молода для этого, – славу Богу! Отвечая ему на его добрые расспросы, мне так и хотелось сказать, что в душе дрожало: владыко... по человечеству вразумите меня. Могу ли я каяться в том, что считаю счастьем жизни!

27-го марта

Ведь вот недавно уехал Михаил Илларионович, а мне кажется, прошли уже годы с того времени. Он уехал – и с его отъездом моя жизнь навсегда лишена спокойствия, отрады, даже разума.

Мне бы хотелось вызвать впечатления моей ранней юности, проникнуться ими, отдаться им. О, если бы имели силу воспоминания прошлого оторвать меня от того, что я чувствую теперь! Представление о Сергее Сергеевиче слишком бессильно над моим сердцем, и весь эпизод этот так бледен, так мелочен, что даже непонятно, как мог он иметь такое решающее значение в моей жизни. Впрочем, мне кажется, я сама переродилась. Неужели это я девочкой двенадцати лет играла этюды Черни и «Le mal du pays»*, с таким наслаждением, точно лучше этой музыки никогда ничего не бывало? Около меня сидел учитель, старый и невзрачный старичок, у которого, казалось, всегда был насморк; притом он нюхал табак и всегда отбивал такт рукой, держа в пальцах щепотку. Я ли это, в день первого выезда, сидела перед трюмо, боясь жизни, которая должна блеснуть передо мной, и стремясь к ней? – И парикмахер, приподняв кончики волос моих, сказал, что они бы стоили очень дорого, что это французский волос. Неужели это я изображала в живых картинах «Мечту художника»? Ах, но мои мысли были чисты тогда!

8-го апреля

Я напрасно поджидала – Михаил Илларионович не мог приехать благодаря Яраспутице; вчера пришли сказать, что на их стороне лед идет так обильно,

* «Le mal du pays» («Тоска по родине») – пьеса из фортепианного цикла Ф. Листа «Годы странствий» (1830-е – 1870-е гг.)

что не переехать реку и затопило дороги. Вот и Страстная придвинулась. Крашение яиц, уборка комнат уже окончены. Моя Оленька, воспитанница и ученица, сделала большие успехи: вышила туфли преосвященному, а для матушки выучила, конечно, наизусть, начало первой кафизмы. Ее ужасно занимает, что вода на монастыре и кельи сообщаются между собой на лодочках, даже богомольцы подплывают, потому что почти нет проезда.

18-го апреля

Как этот нежный воздух опьяняет. У меня кружится голова, когда я, закутавшись в платок, сижу в чайной у открытого окна и люблюсь на разлив реки. Вода почти у самой стены, и наши старые деревья, кажется, что растут из нее, отражаясь в ней так светло.

20-го апреля

Колокола все весело звонят целыми днями, что ужасно нравится нашей мольдежи, особенно Лизе; все, что движение, ей по душе. Скорлупы яиц валяются повсюду; жгуче, радостно светит солнце, осушая для Михаила Илларионовича дороги. Тайно ждать – какая мука и какая сладость! Мы едва отдохнули, крылосные-то, я думаю, не совсем еще, от служб, но вместе с тем, заутренив на Светлое Христово Воскресенье хоть и тянется всю ночь, этот праздничный обед в девять часов утра, эта ликующая вечерня – какой это радостный, яркий праздник. Он отмечен навеки значением жизни.

21-го апреля

Вот какая история сегодня у нас. Младшие крылошанки левохорные Соня, Влидия, Катя и Дуня выбежали потихоньку за ворота, любуясь, как катаются по улице мирские; к ним подошли купеческие сынки и повели разговоры, что, вероятно, очень их тешило. Мать Рахиль подстерегла их и довела до матушки; их всех поставили на поклоны в трапезной. Я не могла обедать, глядя, как они все время кланялись со слезами. Бедные, глупые девчонки! Мир тянет их к себе, как мед мух, а если бы знали они, как он опасен и лукав для чистого сердца! Я бы не наказывала их – ну, что за преступление такая глупая шалость, но все наши старшие – кроме, конечно, только матушки – любят стеснять, а не учить. Машенька и та, впрочем, рассердилась на девчонок и тут же на себя за свой гнев.

– И какая я худая! Не стерпеть мне, чтобы не осудить! – жаловалась она мне, ударив сжатым кулаком по своему колену. – И что эти греховодные девчонки все зубоскалят, нас срамят. Нашли, о чем разговаривать с мужчинами.

Она очень расстроилась, когда мы разговорились о том, что и для нее может наступить минута искушений, которых еще не было в ее жизни.

– Неужто никак не минует! – протянула она жалобно. – Как я боюсь этого, и сказать не могу, как боюсь!

В двадцать два года воображение ее еще нетронуто и спокойно. Но Машенька – исключение.

25-го апреля

Что ж он не едет? Я жду его. Эта проснувшаяся красота природы мертва без него.

Я раскрыла мою любимую книгу, подарок преосвященного, но скоро закрыла ее. Образ Михаила Илларионовича точно тихо вынул ее из рук моих и положил на окно; несколько минут я жила в милом мире воображения. Всю комнату наполняли светлые сумерки; огонь лампадки казался совершенно желтым. У нас была полная тишина, извне в отворенное окно слышно было, как читали правило в летнем соборе, как взвизгивал голосок Оленьки, игравшей на просохшей лужайке в мячик, как перекликались девицы, ходившие по службам. Ах, я почувствовала, как я одинока. Меня окружают дорогие друзья, но нет *одной* души со мною, которая бы могла мне совершенно принадлежать – и никогда ее не будет, она не может быть моею. Я не могла не плакать – это меня облегчало. Что бы сказал Иоанн Златоуст на *мою* печаль?

Долго ходила я одна по длинной нашей зале, потом почти инстинктивно подошла к столу, вынула листок бумаги... Я написала только одно слово: *приезжайте*, но докончить и послать не смела. Оленька вернулась с прогулки, хлопнув парадной дверью, долго искала кота, но, не найдя его, прибежала ко мне. Она была сама жизнь, бодрое утро жизни, несмотря на черный подрясничек. Ее карие глаза блистали, волосы разметались из-под гребенки. Ее невинный разговор и утешил меня, и развлек. «Ты моя радость», сказала я ей, а она мне возразила: «А ты моя крепость!».

Как счастлива эта милая девочка, что мир ее не знал, она не знала мира и может быть убережена от тяжелых искушений.

27-го апреля

Ни предчувствие, ни известие не предупредили меня, что он приехал. Совершенно неожиданно я увидела его за обедней. Я только что думала о том, какой великой жертвы требует от меня закон Христов, если я всей душой хочу следовать за Ним. Отвергнуться себя... взять бремя... навеки, навеки расстаться с чувством к Михаилу Илларионовичу. Нет, не могу! Эти мысли проносились в голове моей и, утомленная службой, я, грешная, рассеянно любовалась на волосы Даши, которые, как золото, мелькали под черным ее флером. Кто-то сказал мне точно на ухо, что он за мной. Я оглянулась и увидела его. Он стоял, по обыкновению, закинув за спину руки, спокойно и внимательно, как будто

слушая службу. Он везде умеет держать себя с тактом, лучше многих богомольных людей. Когда я взглянула мельком на него, по его лицу проскользнуло внимание, глаза стали на мгновение темны и кротки, он, кажется, хотел подойти ко мне, но я должна была невозмутимо и неподвижно оставаться на месте! Но это ничего, потом было забыто. Мы говорили долго, мы были в саду вместе с Машенькой и Оленькой, и смысл наших речей был для них непонятен. Говорят, что весной расцвет женской красоты, – во всяком случае я была хороша в его глазах; их выражение много и много мне это говорило.

– Не уезжайте больше, не уезжайте никогда, потому что истома хуже смерти... – я проговорила это, конечно, когда мы остались одни.

– Да, это правда, – произнес он в ответ, глубоко вздохнув, – я готов не уезжать, бросить дела, но и вы должны пойти на уступку...

И теперь еще представляется мне, как он говорил это, как уронил из рук пучок колокольчиков, которые Оленька набрала для него. Выражение его лица было прекрасно в тени только что распускающихся ветвей; эти темные брови и серьезные глаза, и такая неуверенная и нежная улыбка!

– Уступки? Нет, кажется, жертвы, которой бы...

– В любви нет жертв, – сказал он, положив свою руку на мою, когда я держалась за нежно-шершавый ствол березы, – есть только взаимное соглашение. Да жертвы я не принял бы!

«То было раннею весной, в тени берез то было!»*

Я не могу ни соображать, ни рассуждать, потому что голова моя идет кругом. Михаил Илларионович говорил, что никогда ничего не надо анализировать в области чувства, чтобы не разрушить его, что есть вещи, не поддающиеся обсуждению, но для меня двойное счастье перечувствовать снова и снова, вызывая одно и то же воспоминание тысячи раз.

5-го мая

Я с Оленькой гуляю за оградой, в саду, и тут мы встречаемся. Я не могу лишиться себя этой отрады, несмотря на тайну, которой она окружена. Что мне за дело до всяких Калисфений и Рахилей, подстерегающих нас, и до всех на свете! Что мне до косых взглядов старших монахинь, которым не нравится, что матушка ко мне так доверчива и добра, что мне до молодых, которым завидно внимание ко мне такого важного барина! Я отвечаю духовнику и никому больше.

Я знаю, что сегодня в правило я встречу его; я жду в тревоге, я смотрю на часы каждую минуту, мне все кругом надоело, меня все стесняют, а останусь одна, берет тоска нетерпения!

* Из стихотворения А.К. Толстого «То было раннею весной...» (1871).

7-го мая

Как я сегодня чуть не попалась Калисфении! В то самое время, как за оградой мы прощались при закате солнца, вдруг из кухонных ворот вышла Калисфения, положим, она не могла рассмотреть, кто со мной, и меня не могла узнать, но видела, конечно, что монашенка и какой-то господин. Большой платок, надетый на голову, скрывал мои волосы, рост, подрясник – каких много. Она не разобрала, но угадала, что это я и кто со мною. Я не торопилась особенно уйти от нее, когда она кричала мне: стой! стой! Я только шла, не оборачиваясь, но она почти нагнала меня, когда я огибала ограду. Что мне было делать! Войдя в святые ворота, я увидела, что дверь на колокольню отворена, и тихо скользнула туда в ту минуту, когда Калисфения, задыхаясь, тоже вбежала в ворота. Она на беду заметила метнувшийся из двери колокольни край моего подрясника и, угадав, где я, бросилась за мной, второпях захлопнув за собой дверь, отчего мы очутились в темноте, и стала подыматься по ступенькам; я прижалась у стены, замирая в недоумении, что мне делать. Стараться найти выход я боялась, чтобы, застучав дверь, не привлечь ее внимания, да я и не могла сообразить, как она отворяется, наружу или внутрь? А Калисфения между тем мерила ступеньки и ворчала: «Ишь, окаянные, нет на них страху! Ужо вот к матушке сведу... после правила за оградой бегать!». Увидав, что наверху меня нет, она вернулась, очень остроумно придумав шарить в темноте по стене, чтобы наткнуться на беглянку. Ох, как мне неприятно было! Действительно, она наткнулась на мою голову и в ту минуту другой привычной рукой отворила дверь. С мгновенной сообразительностью я вырвалась из-под ее жесткой руки и выбежала в отворенную дверь. Под воротами было уже совершенно сумрачно, вечерний ветер обвеял мне лицо. В саду гуляло много крылошанок, и я присоединилась к ним, как ни в чем не бывало. Со злорадным чувством я видела, как запыхавшаяся Калисфения, не переставая ворчать, шла «по плите» с дрожавшими щеками и махая рукой. Она, конечно, знала, что это я, но не поймала меня. Как это напомнило мне институт.

В этот вечер разговор наш с Михаилом Илларионовичем был значителен. Он сказал мне, слегка заламывая свои руки; этим выражается у него какое-нибудь принятое намерение:

– Вы должны теперь решать, что будет дальше. – Когда я молчала, он прибавил тихо с ударением: – Ведь вы знаете, что так не может продолжаться! Вы не дитя!

– На что же решаться, когда нет выбора? – прошептала я. – В вас одном моя жизнь.

– Подумайте же немного обо мне! – проговорил он, глядя в мое лицо, приподнятое к нему. Он находил как-то, что мои глаза говорят убедительнее слов, и несколько времени он молча читал в них.

И потом это «ты», произнесенное шепотом, и необычайная нежность двух-трех мгновений...

– Вот Калисфения, – с волнением сказала я.

– Бояться какой-нибудь Калисфении! как это унижительно! И тайна эта... – проговорил он с нетерпением, прощаясь.

Не намекал ли он, чтобы я оставила монастырь? Не то, чтобы я допускала хоть мимолетную мысль, что это возможно, но мне больно спорить с ним, отказывать, убеждать. Даже намек я боюсь о какой-нибудь перемене. Мы любим друг друга, и наша жизнь должна идти врозь – для людей – на самом же деле душою мы соединены навеки.

Вопросов о вере нет больше между нами. Его природный такт не допускает их, но я думаю, что такое, как его, прекрасное сердце не может быть неверующим, хотя и бессознательно, и незаметно для него, осторожно и постепенно, я все же надеюсь привести его к сознанию.

10-го мая

Коротенькую сегодняшнюю ночь я всю провела у открытого окна. Я не могла спать и все вспоминала сегодняшний день. В это свидание с Михаилом Илларионовичем мы не оставались ни одной минуты наедине, но, кажется, этого и не нужно было, до такой утонченности дошло душевное наше сочувствие. Ах, этот день! Тайна тяготит его и восхищает меня. Мы понимали, кажется, не только слово или взгляд, но вздох, биение сердца один другого. Что нам до того, что кругом были люди – они не мешали мне быть так глубоко любимой. Я никогда еще не видала в нем такой кротости, такого угождения по отношению к себе.

Ах, поверьте, поверьте мне, все люди, к которым я теперь обращаюсь с страстным воззванием испытываемого сердца, – весь мир стоит одной любовью. Все прекрасное, все сладостное в жизни, музыка, красота, хорошие мысли, великия деяния – это все любовь. Нельзя, неестественно ее подавлять. Да, в эту белую ночь без мгновения сна, мои глаза смотрели на сумрачно освещенный собор, на могилы с редкими бледными огоньками, на противоположный корпус с выставленными на подоконники цветами и опущенными шторами, на бесцветное и глубокое небо, – а душевно я видала образ Михаила Илларионовича. Зачем я стала бы лицемерить сама с собой? *В выражении его любви, когда мы одни, есть неизбежное зло, но и оно мне дорого.*

Молчание этой прелестной весенней ночи, этого радостного утра меня угнетало, особенно после того, как взошло солнце; я хотела движений, я хотела сейчас увидеть его и голос, голос его услышать, увидеть сигару в его руках, его улыбку и вдумчивый взгляд, точно нас обоих проверяющий... Я пошла по сонным кельям. Осторожный звук чашек в кладовой привлек меня; это Лиза и Даша в четвертом часу утра встали, чтобы потихоньку напиться кофе; они и мне предложили, но я только улыбнулась в ответ.

12-го мая

Иннокентия вот что мне сегодня сказала:

– Не рассердились бы вы, барышня, Вера Николаевна, а я вам правду скажу.

И я уж покраснела, когда она, подняв глаза от станка, на котором ткала свои поясочки, пронизательно на меня взглянула:

– Вы с барином поменьше разговаривайте... нехорошо. Замечают уж, болтают!

– Все это вздор, я знаю! – произнесла я, чувствуя, что Машенька смотрит на меня с соболезованием.

– Будто не вздор! Кабы не вздор, нечего было и говорить! – сказала Иннокентия с своим ласковым и разумным выражением, а у меня сердце замирало. – А только, матушка вы моя, нехорошо на людей соблазн наводить! вот что! Да и тележку подвезут свои мироносицы – до матушки как раз доведут...

– Я не могу запретить ему со мной разговаривать.

– Зачем запрещать! Уклониться, а не запрещать. То недосуг, то матушка будто спрашивает, то с Оленькой поучиться... Им, родная моя, и запрещать, так не запретишь. Что на их смотреть! Им это самое занятное хорошенькую монашенку смутить: свои-то небось надоели. А повязочка-то на вас – великое дело! Нечего и говорить – сами понимаете.

Мне нечего было возразить, и тяжело было на душе.

– А вот, к слову сказать, – продолжала она, проткав целое слово и остановив станок. – В Житиях это есть, слышали, я думаю. В каком-то городе – ты, Машенька, не помнишь ли? город-то как на грех я и забыла! Забыла, родные, ну, да ничего! Там была игуменья, а у нее племянница, и такая красивая, и разумная-то, и добродетельная-то, и чего-чего нет! – увлекаясь все больше и больше, говорила Иннокентия, в пылу рассказа оттолкнув ногою станок и подперевшись рукой. – Ну, ангел, ангел, как есть! И все-то ее, к примеру сказать, за святую почитали. Тоже и молитвенница она была. Вот и умерла. Ну, вот и начали говорить – такие, мол, не живут. И что ж вы, родные, думаете? Приснись она матушке-то самой во сне в скором времени после того, как померла. И видит матушка-игуменья – вся-то племянница ее в огне, вся, как есть, одна только голова виднеется! Да, мои голубушки!

– Ой, и жалко как! – жалобно проговорила Машенька, скривив губы, как ребенок, собирающийся заплакать, хотя она давно знала и много раз слышала эту историю.

– А вы знаете, какая причина? – продолжала между тем Иннокентия. – Лицемерила она, матушки мои; все ее невесть как уважали, а она, ну, значит, полюбила тут одного...

Мы долго, тяжело молчали.

– Ах, Иннокентия, такая иногда тоска! – проговорила я наконец, едва удерживаясь от слез.

– Вражеское это, душенька. Молиться надо, вот что! – отвечала она.

Так неужели я не могу думать так, как хочу, не могу любить, кого хочу? О, дайте же, дайте мне свободу души!

15-го мая

Что же случилось за эту неделю? Скажите мне кто-нибудь, отчего я его не вижу? Он здоров и не уехал, потому что его видали в городе еще третьего дня, он не может сердиться на меня, потому что видит, как беззаветно я люблю его. Его отсутствие не игра, не искусственность, потому что их нет в его характере. Почему все молчат вокруг меня? никто не упомянет даже его имени.

Деревья наши шумят, радуясь, что все распустились, а я брожу вслед за Оленькой, все брожу по берегу реки. Как тяжело на сердце, когда природа сияет, не желая знать обо мне. Праздничный колокол звонит так весело, многая лета пели в трапезе так звонко, река так ослепительно сверкает, мечет искры в лучах солнца.

Я знаю, что значит его отсутствие, но не смею признаться в этом самой себе. *Он хочет, чтобы я вышла из монастыря.* Но если на мгновение допустить эту мысль... на мгновение – могу я так жестоко, так вероломно поступить с друзьями, постоянно верными и преданными, так глубоко огорчить матушку, а преосвященный?.. А духовник, который никогда бы не дал на это своего согласия... Боже! Могу ли я навеки оттолкнуть их всех, мою вторую родину... и при этом перед моим внутренним взглядом разверзается новая пропасть, ужасно заглянуть в нее... Он хочет, чтобы я вышла из монастыря, а потом? Перед Богом, Который видит мою душу, я недостойна этой обители, но куда же мне идти из нее? Если бы он был свободен! Но нет! Мысли мои так безумны и внезапны. Он – свободен! Это могло бы быть счастьем до такой степени великим, что оно казалось бы неестественным на земле.

16-го мая

Его нет, потому что он хочет, чтобы я умерла с тоски. Отчего такой змейкой прокрадывается мне в душу холод, когда я вздумаю, что он мало жалеет меня? Ему совсем не жаль. Что у него на уме... Если бы он выслушал меня до конца, если бы у меня хватило духу рассказать ему все свои смятенные чувства? Ах, будь у меня немного своего, не казенного времени, чтобы поплакать на свободе, уйти, куда глаза глядят, лишь бы спрятаться от всех, от милых матушек, внимание которых ко мне преследует меня до самой церкви.

Мы не можем быть друг для друга ничем, кроме как братом и сестрой; ничем, а он думает иначе? Что он думает об этом? Боже мой! Я должна увидеть его еще хоть один раз...

Я сидела сегодня на лужку у той излучины, где обыкновенно купаются девицы, Оленька забавлялась пылью одуванчиков и бегала собирать их. Мимо

меня проходила дальняя крестьянская девушка, с подобранным сарафаном и босыми ногами. Сапоги она несла в руках.

– Скажи, родная, как до матушки-игуменьи дойти, – сказала она мне, остановившись передо мной. – Лажу в монастырь даваться.

– Зачем тебе в монастырь? – проговорила я. Может быть, невольная печаль в моем голосе расположила ее ко мне, она быстро присела около меня, заботливо выбрав местечко посуше, и с доверчивостью сказала:

– Обещалась я. Нони как трудно жить по деревням, гораздо труднее стало. Тятя у нас, вишь, пьет, а матери нету; братаны-то еще не женаты... нет, матушка, одной-то мне не управиться.

Я взглянула на ее круглое лицо, все розовое, как ее ситцевое платье, на белый глянцовитый лоб с примазанными на нем волосами, и сказала ей с тоской, которой ни заметить, ни понять она не могла:

– Погодила бы. Не иди молодой в монастырь...

– Молодой-то ишь и иди, – подхватила она – Состарюсь на работе, куда гожушь? Ведь мы, ведаешь, бедны, гораздо небогаты...

17-го мая

Должно быть, шепнули что-нибудь преосвященному про меня. Сегодня, пока я подавала чай, он не глядит, не говорит ничего. Потом я попала к нему в передней, когда его провожали, тоже он всем по обыкновению своему что-нибудь сказал, а мне ничего. Видно, сказано ему. Даже матушка это заметила. Но пускай! Что же мне делать – мне и так невыносимо дышать. Оленька и та говорит сегодня: видно, ты, Верушка, меня разлюбила, не хочешь со мной забавляться...

18-го мая

Каждое утро до звону я из хлебной, где идет неугомонно своя опрятная работа, смотрела, не появится ли Михаил Илларионович «по плите», закинув руки назад, я даже со всевозможными хитростями выбегала за ограду, не ударит ли мне в глаза его широкоплечая фигура со сверкающим ринсе-нез на белом жилете, но не было его. И вот сегодня, когда я стояла у плакучей над рекой березы, обняв ее ствол, и думала с тоской: «Пресвятая Владычице Богородице, помоги мне!» – я неожиданно увидала его.

И когда я наконец почувствовала свою руку в его руке, когда я смотрела в его глаза, с выражением нежности обращенные ко мне, я едва верила себе! Мы шли позади ограды и хотя встретили кое-кого из сестер – мне все равно было. Мои слезы не были слезами печали или упрека, а непобедимой и невыносимой радости; он тоже долго не говорил ничего, по его губам пробегала судорога. Он сказал, наконец:

– Да! Видно, нам невозможно расстаться. Я было думал и надеялся, что несколько дней могу прожить без вас, но, видно, нет!

Он помолчал немного, потому что был очень взволнован. Потом он проговорил, прищуриваясь вдаль:

– Меня вызывают за границу, я пришел сказать, что непременно должен ехать... Но ведь я уеду не один?

Несмотря на мольбу и нежность его тихого голоса, я молчала в слезах...

– Так что ж? опять играть мною?!

– Не говорите! Не говорите так! – произнесла я среди рыданий, и он больше не говорил этого. Боже! Боже, сил! Неужели же вся моя жизнь, мои моления, мои убеждения – все исчезает при виде его глаз, для них одних мое существование...

20-го мая

Я, кажется, становлюсь безумной... Я не знаю, как я очнулась вчера. Накинув платок на голову, я, не помня себя, хотела выбежать за ворота и бежать, куда глаза глядят. Я забыла, что ворота у нас вечером заперли, бросилась на коровник, но скот уже вернулся и свои ворота они замкнули. Неясный ужас меня охватил и потом сильная слабость, сильная дрожь. Я побежала к Машеньке, их келья ближе нашей.

– Не говорите, не спрашивайте! – кажется, я проговорила эти слова, когда рыдания чуть меня не задушили, и я упала головой на диван, уже не скрывая слез...

– Вот какое горюшко! вот горе! – повторяла надо мной с сокрушением Машенька, но Иннокентия отвела ее и сама молчала несколько времени, чтобы дать мне успокоиться. Потом, когда она стала говорить, то о таких ничтожных, обыкновенных предметах, которые и близко не прикасались ко мне. И это меня совершенно успокоило. Когда необходимо мне было идти, должно быть, было очень поздно, у нее случился предлог проводить меня в игуменские, и она ушла от меня только тогда, когда, в изнеможении от тоски и слез, я уже лежала в постели. Спаси ее Господи!

21-го мая

Я увижу его только в воскресенье, потому что он уехал к себе на два дня. В душе моей все растет невыносимая тревога... Господи мой! Не смею глаз моих поднять к Тебе. Сомнение раздирает мое сердце, и оно точно окутано холодным туманом. Не с кем поговорить, не у кого спросить совета, потому что души моей никому не могу открыть. Боже мой! Сжался надо мною! Я изнемогаю!

Сегодня несколько минут я была совершенно одна за оградой. Вечер такой, как я прежде любила, с разметанными по небу облаками, так изящно освещенными солнцем. Я не видала ничего – я уже разлюбила красоту, – но мучительно сознавала, как тих, как прекрасен нежный вечер. Ветерок изредка пробежал, колебля белые рукава и волосы на шее, и я думала горькие думы, глядя на

это равнодушное и мирное небо... Мне надо выбирать: эти глаза... эти нежные слова... эта задушевность, полная блаженства и тайны, – или жизнь без них! Неужели всегда без них? Я теперь сама вижу, что совместить того и другого невозможно.

Он думает, что улыбкой, нежным словом или насмешкой можно подавить или уничтожить то, что в душе, – результаты целой искренней жизни. Да, я малодушно улыбалась, когда он умолял меня не плакать, я молчала, когда он говорил, что жизни женщины только тогда можно подвести итоги, когда она любит беззаветно и что всякий экстаз, как между прочим он величает мои религиозные убеждения, есть только стремление любить.

Где же мои прекрасные надежды! Не его привлекла я к истинам нашей веры, а свою живую душу готова принести в жертву этой земной любви. Я знаю, что обетов монашества еще не давала, я знаю, что не платье делает человека, но если бы я могла найти для оправдания себя какое-нибудь искупление!

22-го мая

Матушка велела завтра идти в Покровский монастырь отстоять обедню, отслужить Богородице молебен и стать веселее. Она так и сказала. Кстати Иннокентии надо у владыки пересмотреть в погребах капусту, она немного тронулась, видно, берут руками, так обчистить, и я должна передать преосвященному вместе с деловыми бумагами и прежде взятые матушкой книги. Когда я уходила из кабинета, радуясь этому поручению, то есть насколько могу чему-нибудь радоваться, матушка, выслав Оленьку, остановила меня и сказала:

– Вера Николаевна, как ваша начальница, я должна была бы знать, какое искушение вас так томит – ведь вы на себя не похожи. Но я не спрашиваю вас. Я вам доверяю. Я сама много скучала в монастыре. Помолитесь поусерднее Владычице...

И когда, поклонившись ей земным поклоном, я с порывом целовала ее руку, она притянула меня к себе и, обняв, сказала:

– Я смотрю на вас как на дочь, как на сестру, я знаю, что всегда могу на вас рассчитывать.

Немея от ужаса, от благодарности, от сознаваемой измены, я молчала. Я была бы здорова, весела, я готова отказаться от всего на свете, пусть он будет со мною! Ничто земное, никакие блага не могут мне заменить его. Как все примирить, я не знаю и потому страдаю так сильно.

Машенька рассказала мне, какой разговор был сегодня в кабинете. Машенька вышивала, а матушка, разобрав почту, просматривала «Епархиальные Ведомости». В это время вошла мать Павла, поговорили о том, о сем, потом она как будто невзначай, со своей манерой притворного добродушия, сказала: а барышня-то наша, Вера Николаевна, все что-то худоумятся, болеют, плачут все... видно, горе какое-нибудь. «Да, – матушка на это отвечала, – я и сама вижу,

что она скучает, небось все перемагаются, от меня скрывает, она и не знает, как мне ее жаль». Мать Павла прикусила язычок, а Машенька перемирала, как бы она не сказала чего вредного. Она не верит перешептываньям на мой счет, но боится пересудов, у меня же не хватает духу сказать ей, как она ошибается.

24-го мая

Как возможно было пережить вчерашний день, еще надеяться, что я проживу много дней? Правда, за обедней я очень плохо молилась, с таким отупением, точно хуже того, что случилось со мною, ничего не может быть. Бывает ли у других людей такое же предчувствие, как у меня, когда мы шли к владыке; я безотчетно чего-то боялась. Оправляясь перед дверью его кабинета, мы слышали голоса, и, когда дверь растворилась, преосвященный кончал свои приказания отцу эконому.

– Пока ведро, пусть красят, не думают, – говорил он. – А, это вы? знаю, насчет капусты, видно, мать-игуменья прислала... – сказал он Иннокентии, когда мы ему кланялись. – Поди, сделай милость, полечи нашу капусту... Посидите там, – прибавил он в мою сторону.

Не могу себе объяснить, почему во мне при этих словах явилась непонятная, но непреодолимая уверенность, что преосвященному *все известно* обо мне. Его лицо ничего не выражало, кроме озабоченности, относящейся к делам, когда он мельком остановил на мне свой взгляд. Все было, как всегда, в особенности мирно и удивительно опрятно; сияние и прохлада неслись в окно; весело смотрели со стен пожалованные именные портреты; ярко выступали цветы вышитого коврика на лаковом полу, недавно подаренного матушкой. Внимательно слушал отец эконом приказания владыки – но моя душа была беспокойна: есть что-то неуловимое, точно действующее вне нас, что дает понять недоступные слову оттенки взаимных отношений.

Пока уходил отец Исидор и, затворив дверь, освобождал край захлопнувшейся своей рясы, мы с владыкой молча смотрели друг на друга, и эти несколько секунд показались мне так длинны и тягостны, что жестокие слова, которые он сказал, лишь только слышно было, что от двери удалились шаги отца эконома, не поразили меня, как бы следовало, как, например, теперь.

– Что я слышу про вас такое? – спросил он грозно, и я заметила, что рука его, захватившая обшлаг подрясника, дрожала. – Если вы вздумали уходить из монастыря, то скатертью дорога! Мы вас не звали и не держим. Других по крайности не соблазняйте... Только знайте одно: прелюбодеи Царства Божьего не наследуют.

Я знала и знаю, что власть преосвященного, как благочинного, над моей судьбой безгранична, но странно, гнев его, который мог быть для меня приговором, не обижал, не пугал меня, напротив, он меня невольно успокаивал и как будто удовлетворял. Я не помню всего, что он долго говорил; я помню только

тяжелый взгляд его потемневших и блистающих глаз, громкий голос его, все разгоравшийся гневом, неприятный скрип его неровных шагов. Я чувствовала, что бледнею, но не от страха – *от стыда перед его мнением*. Нервы мои были так напряжены, что я слышала каждый посторонний звук: как кто-то осторожно прошел по соседней келье, каким густым звоном, сравнительно с нашим, ударили на трапезу, как невдалеке от окна, вероятно с тем, чтобы слышал преосвященный, казначей выговаривал какому-то послушнику.

Вдруг в кабинете наступило молчание. Владыка, наконец, точно устав сердиться, тяжело опустился в кресло у окна, недалеко от того места, где я стояла, и облокотился на подоконник, поддерживая голову. Ах, я пережила эти мгновения, ничто не может быть хуже этого!

Но когда преосвященный тихо проговорил совершенно уже другим тоном: «Никак, никак не ожидал я этого от Михаила Илларионовича», – я зарыдала. Он вопросительно взглянул на меня и при этом медленно произнес:

– Между вами ничего серьезного не было?

Я долго не могла ничего ответить; два-три мгновения бессознательно и вместе жгуче представлялись моему воображению... Но преосвященный ждал, и с трудом я проговорила: нет.

– Ну, я скажу так: иди и впредь не грехи, – сказал он.

Ах, эти слова огнем зажгли мою душу!

– Не могу! не могу! – вскричала я среди рыданий и, упав на колени, ухватилась за стул, у которого я стояла.

– Не можете не грешить? – спросил он тихо, ласково и мягко, хотя суровое лицо его оставалось серьезно.

Не знаю, что произошло со мною. Сознание временно исчезло во мне, как будто ни прошедшей, ни будущей жизни не существовало, были только эти минуты нашего разговора, – и все внешнее потеряло для меня значение. Как случилось это, что начальнику, так высоко стоящему относительно меня, суровому монаху, я постепенно и без утайки рассказала *все*, точно в доверии к нему заключалась моя последняя надежда. Эта исповедь почти доставляла мне наслаждение, и я не старалась оправдывать себя. Прошло уже много времени. Никто не прерывал нас, хотя в соседней зале я слышала робкие движения Иннокентии, возвратившейся из погребов; я видела даже, как она подошла к полуотворенной двери в кабинет и отошла, покачав головой с таким видом, будто говорила себе: не будем им мешать.

Все, что говорил мне преосвященный, когда я кончила, о целях земной жизни, об ответе за каждое слово – в будущей, о чистоте душевной, которая увидит Бога, о покорности в страданиях, неизбежных для всех, – все это знаю я давно... но почему именно его слова были полны обаяния, казались так отрадны, новы и успокоительны? Не оттого ли, что я раза два заметила, что и на его глазах навернулись слезы? И прежде каждый разговор преосвященного пробуждал в моей душе высокие чувства, но никогда не испытывала я такого облегчения.

Между прочим он спросил меня, – если я выйду из монастыря, куда я пойду? – Я отвечала: не знаю. – К нему? разрушить его семейную жизнь и спокойно ждать счастья от беззакония?

И эта определенная мысль показалась мне невозможной и ужасной.

– Я отвечаю за нас обоих, – проговорила я дрожащим голосом.

– Давай Бог, – произнес он, но с недоверием.

Несмотря на усилия, я не могла в ту минуту вернуть непобедимое и мучительное чувство любви в свою душу; в ней была пустота и спокойствие. Оно исчезло теперь, когда я одна... любовь по-прежнему терзает меня, и все, что было вчера, представляется мне сном.

Подумать, что владыка меня, изнемогающую в слезах печали и стыда, уговаривал, почти утешал! Не советами, не осуждением вливал он мне в душу отраду, а только тем, что понимал меня! Как он раскрыл передо мною мое собственное сердце; как он хорошо объяснял, что глубокая моя тоска и нерешительность были полны бессознательных укоров совести и раскаяния, как он верно говорил, до чего может быть прекрасна и легка жизнь, если человек захочет жить по Божьей воле. Его собственная высокая душа жива и добра.

Впечатление этого разговора смешалось с лучами солнца, которые, передвинувшись, стали светить в окно, яркой полоской лежа на малиновом рукаве преосвященного, с весело зеленеющей липой, с мелодичным курантом башенных часов, уже не один раз пропевших свою арию.

Вот что сказал мне преосвященный на прощанье:

– Игуменья, мать Ефросинья, ничего не знает. И пусть так. Беседа наша здесь в келье и останется. Я уверен в милости Божией относительно вас; так вы еще молоды.

С необъяснимым чувством я упала к его ногам. Той гордости, которая мешала мне признаться матушке, Иннокентии, Машеньке, – с ним не существовало. Он сам испытал так много! Недаром его коротенькие проповеди жгут сердце людей.

Иннокентия, видя мои распухшие от слез глаза, меня не расспрашивала; и в монастыре мы счастливо не встретили никого. Батюшки отдыхали после обеда. У нас же матушка-игуменья была в ризнице, где любовалась только что оконченной плащаницей, потом к ней пришли из миру гости, так что я имела время совершенно оправиться перед тем, как увидела ее.

Но теперь я одна! Теперь ночь. Я пишу при лампадке, чтобы светом не привлечь чье-нибудь внимание на мое открытое окно. В него несется ночной холодок, сырой и нежный. Как все печально. Неужели можно быть несчастнее меня. Томиться жизнью и вместе с тем бояться умереть, бояться Божьего суда!

29-го мая

Дышать, двигаться, говорить – и не видаться с Михаилом Илларионовичем, разве это жизнь, разве это естественно?

Я решила рассказать ему все свидание мое с преосвященным, отдать на его суд... Однако сегодня мы виделись только мельком. Я подавала чай – тут были и другие гости из города. Говорить мы не могли, только взглядом он спросил меня: «Отчего вы так изменились? Что с вами? какое малодушие!». Я отвернула голову, чтобы не дать заметить моего волнения, и потому не слышала и не поняла, что со своей доброй улыбкой говорил мне о. Петр.

2-го июня

Агния шутливо сказала мне у Машеньки: ну, и заспасались-то вы! Ишь как заморились! Уж не вздумайте умереть!

– Ой-ой-оюшки нет! – проговорила Машенька, но по ее унылому виду заметно, что и она боится того же. Иннокентия же сказала шутливо в виде утешения:

– А что! Ведь хорошо умереть молодой. Как бы мы проводили! Такой прекрасной лежать в церквике, в повязочке.

– Ну, молчи, Иннокентия! – с сердцем прервала ее Машенька. Но мне эта мысль показалась теперь отрадною. Вознестись бесплотным духом, оставив здесь, как изношенную одежду, все земные помыслы и пути... О, мой Господь! Ты само милосердие, а я так тяжело, так неудержимо страдаю...

Я не знаю, что с Михаилом Илларионовичем, где прежняя ласковость, любовь, кротость? Он едва говорил со мною.

5-го июня

Так это правда, он хотел только беззакония! О, зачем это решение, зачем назначенные три дня, после которых он уедет навсегда, если я... Оставить монастырь для беззакония с ним! О, Боже! как жестоко Ты посетил меня... Он задыхался и ломал руки, он говорил, что я бессердечна, что я безумна, что я бессмысленно упряма, он говорил это, он, для которого я действительно не пожалела своей души! Как часто с тайным ужасом я читала слова Евангелия: «бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть вас в геенну»*... Все великое, все прекрасное, что было между нами, неужели имело одну только цель. Три дня, разве довольно этого срока, чтобы разлюбить или подменить свои мысли, свою душу. Он не хочет ни колебаний, ни размышлений. Подумать только, что может еще тянуться жизнь без него, без ожиданий, без надежды.

Да, он тоже, может быть, страдает – и эта мысль меня терзает еще вдвое, втрое больше.

Как это темное небо и звезды равнодушны к моей муке! Как спокойно висят эти красивые облака, какое молчание и пустота! И вместе беспредельность... Что будет там, за этим мерцанием и движением блестящих звезд? И когда это

* Лк. 12, 5.

будет? Господи, сжался надо мною, Ты допустил меня постигнуть всю глубину отчаяния.

6-го июня

Вот его письмо тут. Оно полно нежного безумия. Как огонь жгут меня эти слова: «Рано или поздно будет по-моему, иначе окончиться не могло бы». Нет, этого не будет! О, Боже, Боже, как я любила его! Не знаю, как прошла эта ночь. Я ее совершенно не переживала и не спала, все сидела в кресле и смотрела перед собой. О, неужели Господь еще отымет от меня разум? Когда заблаговестили к утрени, я почувствовала опять трепет муки и несколько пришла в себя.

Он не жалеет меня. Разорвать так внезапно – а каково будет мне! Как не подумать, как не пожалеть *по человечеству*? Я слышала, как матушка говорила Оленьке: поди, поди к Верушке, позабавь ее. Девора, с сердцем гремя ключами, не раз отправляется в погреб за вареньем и икрой для меня. Это по приказанию матушки. Как она добра ко мне!

7-го июня

Сегодня он должен уехать. Несмотря на жару, мне все холодно, и я нигде не нахожу себе места. Как осужденный на смерть оглядывается на свою жизнь и в секунды переживает годы, так и я мысленно переживаю давно, давно минувшее. И мне кажется таким ничтожным пространство пути, которое мне нужно пройти, чтобы достигнуть порога в будущую жизнь, хотя бы она тянулась еще многие годы.

О терпении. О тщеславии

О терпении

...Не тот терпелив, у кого нет необходимого, но тот, кто, не имея недостатка в наслаждении, предпочитает терпеть бедствие.

Свят. Василий Великий (ок. 330–379)

Нет меры терпению, если оно растворено любовью.

Каждый должен, сколько нужно, терпеть недостатки ближнего, по упованию на Бога. Но горе тому, кого терпят и он не разумеет сего!

...В ком нет терпения, тот колеблется ветром, не переносит обиды, малодушествует в скорбях, в подчинении – ропотник, в послушании – прекослов, в молитвах ленив, в ответах медлителен, в пререкании смел.

Преп. Ефрем Сирий (ок. 306–373)

Не указывай мне на такого, который обижен и терпит, ибо случается терпеть и по бессилию; но на такого, который в отношении к равносильным и к тем, кому он мог бы мстить, показал бы терпение.

Если у нас недостает терпения слушать слова о добродетели, то кто поверит нам, что мы предпримем труды добродетели?

Если у тебя нет терпения к твоему ближнему, то как будет терпеть тебя Бог?

Свят. Иоанн Златоуст (347–407)

Если чем обижен, прибегай к терпению, и вред перейдет на обидевших.

Преп. Нил Синайский (? – 450)

О терпении. О тщеславии

Верх терпения – когда человек, находясь в утеснении, считает себя имеющим отраду.

Преп. Иоанн Лествичник (VI–VII вв.)

Терпение есть трудолюбие души.

Преп. Фалассий Ливийский (VI в. – ок. 660 г.)

В мысленной же брани невозможно найти места, где бы ее не было. <...> Куда [человек] ни пойдет, везде встретит брань. В пустыне – звери и демоны <...>. В безмолвии – демоны и искушения. Среди людей – демоны и люди искушающие. И нигде нет места без испытаний; потому без терпения и невозможно найти покой.

Преп. Петр Дамаскин (2-я пол. XII в.)

И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.

Александр Пушкин (1799–1837)

Хорошо спасенье, а после спасенья – терпенье.
Терпел Моисей, терпел Елисей, терпел Илия, потерплю и я.

Поговорки

Дом души – терпение, пища души – смирение. Если пищи в доме нет, жилец лезет вон (выходит из терпения).

Преп. Амвросий Оптинский (1812–1891)

Ударение в ланиту не буквально только надо понимать... <но> всякий вообще поступок ближнего, которым, как нам кажется, не отдано нам должного внимания и почета, которым чувствуем себя униженными.

Первый предмет терпения есть терпение себя.

Свят. Феофан Затворник (1815–1894)

В грусти человек – естественный христианин. В счастье человек – естественный язычник. <...> В «облегчи! избави! спаси!» – в муке человечества есть что-то более важное <...> и *более глубокое*, чем во всех радостях. <...>

Христос – это слезы человечества, развернувшиеся в поразительный рассказ, поразительное событие.

Боль жизни гораздо могущественнее *интереса к жизни*. Вот отчего религия всегда будет одолевать *философию*.

Василий Розанов (1856–1919)

...Одно из главных обвинений против религии: проповедуя терпение, она-де подрывает в человеке способность к протесту, к борьбе, к защите своих прав, к стремлению к лучшему, более справедливому миру. <...> В основе христианского терпения – совсем не равнодушие ко злу, а, как это ни странно звучит, – очень активное чувство доверия к человеку. Сколько бы человек ни падал, ни предавал лучшее в себе, христианство призывает нас верить, что не это: не зло, не падение – сущность человека. Оно верит, что человек всегда может подняться, вернуться к своей светлой сущности...

Прот. Александр Шмеман (1921–1983)

О тщеславии

Как блудная женщина, стоя на кровле, отдается всем, так и рабы тщеславия; они даже гнуснее блудниц, потому что блудницы нередко пренебрегают некоторыми, желающими их, а ты предлагаешь себя всякому.

Свят. Иоанн Златоуст

...Побеждаюсь тщеславием, одевшись в хорошие одежды; но и в худые одеваясь, так же тщеславлюсь.

Преп. Иоанн Лествичник

В тщеславную душу, даже очищенную благодатью, страсти возвращаются.

Преп. Петр Дамаскин

Ложная скромность – самая утонченная уловка тщеславия.

Жан де Лабрюйер (1645–1696)

Неудивительно, что большое количество знаний, не будучи в силах человека сделать умным, часто делает его тщеславным и заносчивым.

Джозеф Аддисон (1672–1719)

В каждом человеке ровно столько тщеславия, сколько ему недостает ума.

Александр Поуп (1688–1744)

Между бесчисленными глупостями, какие заставляя нас делать тщеславие, самыми замечательными, хотя всего менее замечаемыми, бывают плохие книги.

Пьер Буаст (1765–1824)

Тщеславие и гордость хотя одной закваски и одного свойства, но действие и признаки их разные. Тщеславие старается уловлять похвалу людей и для этого

О терпении. О тщеславии

часто унижается и человекоугодничает, а гордость дышит презрением и неуважением к другим, хотя похвалы так же любит.

Преп. Амвросий Оптинский

Как <...> ловко ни сшит плащ тщеславия, он никогда не прикрывает совершенно ничтожности.

Михаил Лермонтов (1814–1841)

Где начинается тщеславие, там кончается разум.

Мария фон Эбнер-Эшенбах (1830–1916)

Отвратительное человека начинается с самодовольства.

Василий Розанов

В чем сущность кокетства [тщеславия]? По-моему, в неспособности к бытию. Кокетливые люди – люди, в сущности, не существующие, ибо бытие свое они сами приравнивают к мнению о них других людей.

Федор Степун (1884–1965)

Прошлое зарывать надо, как труп, в землю покаяния и богоблагодарения. Иначе будет смердеть. Добро смердит тщеславием, зло – соблазном и гибелью. Покаянием умерщвленный, сгнивший в душе грех делается удобрением небесных зерен.

Иоанн Сан-Францисский (Шаховской) (1902–1989)

[Ответ молодой женщине, тщеславящейся своей внешностью:] ...Станьте перед зеркалом, взгляните в каждую отдельную черту своего лица, и когда вы найдете, что она вам нравится, то скажите: «Спасибо, Господи, что Ты создал такую красоту, как мои глаза, как мои брови, мой лоб, мой нос, уши...» – что угодно. И каждый раз, как вы найдете у себя что-то красивое, – поблагодарите Бога. И постепенно вы обнаружите, что благодарность вытеснила тщеславие. В результате получится, что как только вы взглянете на себя, вы будете обращаться к Богу с ликующей радостью и благодарностью. Но прибавьте к этому и еще нечто: взгляните хорошенько в кислое выражение вашего лица и скажите: «Прости, Господи, – мой единственный вклад в эту красоту, которую Ты создал, это противное выражение лица»...

Митр. Антоний Сурожский (1914–2003)

Иерей Александр КОЛОТОВКИН

Таинства Церкви: Миропомазание

Церковное Таинство, о котором пойдет речь, – Таинство Миропомазания. В современной практике Православной Церкви оно тесно связано с Крещением, точнее, следует сразу за ним, и потому кто-то может даже и не обратить на него внимания. Внешне вроде бы не происходит ничего особенного. Как только человек выходит из купели, священник читает особые молитвы и крестообразно помазывает лоб, глаза, ноздри, уста, уши, грудь, руки и ноги новокрещенного особым веществом, которое называется *миро*, – произнося при этом слова: «Печать дара Духа Святого».

По времени Миропомазание занимает всего несколько секунд. Оно проходит так же незаметно, как порой незаметно происходят многие важные события в нашей жизни: первая любовь, осознание себя взрослым человеком, ответственным за других... Люди и не подозревают, что теперь их жизнь никогда не станет прежней, что мост к давешней греховной жизни уже разрушен и что Евангелие – закон жизни для каждого христианина – перевернет теперь все их бытие. Но, как это часто бывает в Церкви, все величественное и славное совершается незаметно для глаз большинства людей.

«Печать дара Духа Святого»

О какой Печати говорит священник, помазывая человека миром? Печать во все эпохи являлась важным предметом, имеющим юридическую силу. Ею скреплялись договоры, печать передавалась по наследству как знак передачи управления имуществом, а уж потерять ее или оставить в чужих руках... Никому не пожелаешь такой беды. И в современном мире без печати – никуда. Сколько времени теряем мы порой, чтобы некто, облеченный властью, поставил на нашем документе печать, превращающую простую бумажку в нечто более значимое!

Также и видимая печать в форме креста указывает на невидимое запечат-

ление в крещаемом дара Святого Духа, присутствия Самого Бога, лично действующего в каждом члене Церкви, его принадлежность лично Богу. В Ветхом Завете через миропомазание принимали свою власть цари и священники. Это символизировало то, что они не самозванцы, а приняли свое служение legitimately, от Бога. И в Евангелии говорится, что Бог положил на Иисусе Свою печать (Ин. 6, 27), подтверждая тем самым, что Иисус из Назарета является не простым странствующим проповедником, каких тогда было немало в Палестине, а Истинным Мессией, пришедшим спасти от власти дьявола и вечной смерти весь человеческий род.

Печать Святого Духа означает переход человека под защиту Бога. Теперь это *раб Божий*, получивший право на участие во всей полноте церковной жизни, с возможностью приблизиться к своему Творцу настолько близко, насколько это вообще возможно для тварного существа. И как нельзя обидеть царского слугу и не навлечь на себя беды, так и злым духам теперь невозможно безнаказанно воздействовать на христианина.

«Спасение утопающих – дело рук самих утопающих»

Но почему же тогда в христианской литературе так много упоминаний о воздействии темных духовных сил на человека? Ведь мы, приняв Крещение, находимся под защитой Бога, являемся рабами Божиими! Как смеют они соблазнять нас на грех? Где помощь Ангела-Хранителя? А помощь Бога? Такие вопросы мы нередко задаем себе, попав в беду.

Благодать Святого Духа, подаваемая каждому христианину, не статична. Ее необходимо восполнять духовной работой над собой, стараться жить чисто, воздерживаться от совершения греха. Совершая грех – действие, противоречащее Божьему Закону, – мы как бы намекаем Богу, что Он в данной ситуации не уместен Своим присутствием. И Он, не будучи агрессором, удаляется от нас. Каждый новый совершённый нами грех все дальше отодвигает Бога от нас, и, в конце концов, мы рискуем оказаться на таком большом расстоянии от Него, что сами как бы лишаем себя Его защиты.

Проще говоря, в духовной жизни действует закон, выраженный в известной фразе «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Бог не может нас спасти автоматически. Для Него принципиально важно наше *добровольное* обращение к Нему. Зачем Бог пошел на такой шаг? А затем, что отсекая для Себя право насильственно воздействовать на нас, Он тем самым отсекает это право и для других духовных существей. И потому никакой дух не сможет пресечь связь между человеком и его Творцом без добровольного согласия на то самого человека. Никакое колдовство, никакая самая прогрессивная технология не смогут нас «оторвать» от принадлежности Богу – до тех пор, пока мы сами добровольно не отречемся. И именно мы должны протянуть свою руку к протянутой руке Божией, чтобы Он взял нас и повел по жизни.

О «личной Пятидесятнице» человека

Итак, в Таинстве Миропомазания мы получаем благодать Святого Духа. Почему именно Духа? Не Отца, не Сына – а именно Святого Духа?

Перенесемся мысленно в тот момент, когда Бог только приступал к созданию ангелов, материи и всех материальных живых существ. Как Создатель этого мира, неподвластный времени и пространству, Он предвидел все варианты развития событий, касающиеся разумно-свободных существ (ангелов и людей). Предвидел Бог и то, что человек может неправильно воспользоваться данной ему свободой, употребив ее для совершения зла, и что этого падшего человека придется возвращать обратно, чтобы ошибка, сделанная прародителями рода человеческого, не стала тяжелым бременем, довлеющим над людьми. В богословии принятие Богом решения о спасении человечества именуется «Предвечным советом» (предвечный – перед появлением времени, до момента создания материи). Отец имел замысел создания тварного мира, Сын стал его создателем и Спасителем падшего человечества, а Дух является хранителем всего тварного, сохраняя бытие мира и оживотворяя все живущее.

В Евангелии Спаситель неоднократно говорит о том, что после окончания Его миссии по спасению человечества от рабства у греха и вечной смерти именно Дух Святой будет сопровождать верующих, учить их и вести ко спасению. Эти слова Христа исполнились на пятидесятый день после Его Воскресения. Святой Дух в виде огненных языков сошел на апостолов, преобразив их из боящихся за свою жизнь учеников Иисуса из Назарета в пламенных благовестников Истины, готовых даже своей смертью засвидетельствовать проповедуемое ими учение. То, что произошло тогда в Сионской горнице в Иерусалиме, сразу же стало отмечаться как один из величайших праздников Церкви, как день ее рождения.

Такое же сошествие Святого Духа происходит и на каждого человека в Таинстве Миропомазания. Человек умер для греха, освободился от власти сатаны и приобщился ко всей полноте Церкви, которая является мистическим Телом Христа.

Но если все уже совершено, то куда будет вести человека Святой Дух?

И здесь ярко проявляется смысл Миропомазания. То, что совершил Христос, не зависело от человека. Это дар, который дан каждому независимо от его жизни и заслуг. Эта общая для всех новоначальных христиан благодатная помощь от Бога должна быть приумножена осознанной духовной жизнью. И здесь очень многое зависит от усилий самого человека.

Жизнь в Церкви представляет собой постоянное возрастание. «Печать дара Духа Святого», полученная христианином, должна свидетельствовать о Боге, присутствующем в его жизни. Церковь преображает и изменяет мир, а каждый христианин – член Церкви, Тела Христова, – призван преображать мир вокруг

себя. И это невозможно без помощи Божией, которая и дается в Таинстве Миропомазания. И если апостол Павел, перечисляя в Первом Послании к Коринфянам виды даров Святого Духа, говорит о дарах пророчества, исцеления, чудотворения (1 Кор. 12: 4–13), то для современного человека на место этих даров можно поставить почти любую профессию – смысл апостольских слов от этого не изменится. Каждый из нас может превратить свою работу в инструмент для стяжания даров Святого Духа и приближения к Богу, одним из первых и важных шагов которого является Таинство Миропомазания.

О непрестанной радости

В поисках утраченного блаженства

В жизни Православной Церкви есть место не только аскетизму и напряженной работе над собой. Человеческая природа немощна и не может все время находиться в режиме усилий и сдерживания. Наряду с суровыми подвижническими буднями, и в недельном, и в годовом календарном круге церковного служения есть место празднику. Понятие праздника обязательно подразумевает радость, когда духовные рефлексии христианина, выраженные во внутренней сосредоточенности, соединяются с радостным переживанием.

Стремление к радости отражает извечное стремление человека к возвращению в утерянный Рай, где была возможность видеться со своим Создателем. А потому и радость, к которой мы призываемся, является радостью от обретенного Бога, от понимания Господнего присутствия в нашей жизни. Радостью о Господе, в подлинном значении этого понятия, можно назвать ощущение Божиего присутствия и Его заботы о нас. Апостол Павел призывает нас по сути дела войти в «режим» непрерывной радости.

...Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.

Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, – и Бог мира будет с вами... (Фил. 4, 4–9).

Конец Света или начало радости?

Призывая филиппийских христиан к постоянной радости, богомудрый апостол П дает ее обоснование: *Господь близко.*

Первые годы существования Церкви Христовой апостолы и, вслед за ними, верующие с большим напряжением ждали скорого пришествия Спасителя, который должен прийти судить мир. Некоторые советы апостолов давались ввиду их полной уверенности, что через несколько лет Господь снова в силе и славе придет к нам, а потому советовалось не обременять себя житейскими заботами и семейными отношениями, поскольку Он вот-вот придет.

Проходили годы и десятилетия, но ожидание не осуществилось при жизни ни первого, ни второго, ни последующих поколений христиан. Дух Святой, который обильно действовал в апостолах, в том числе в пророчествах, по неведомому нам замыслу Бога, о Втором пришествии Христа не давал никакого откровения вообще. Сам Господь говорил о том, что времена и сроки знает только Отец Небесный (Мк. 13, 32). Возможно, долгое ожидание привело кого-то из тех, кто буквально принимал Евангелие, к разочарованию; кто-то, впав в уныние от порушенных надежд, ушел из Церкви. Но Церковь смогла преодолеть это, выведя свою жизнь из состояния «временщичества», выработав всеохватывающее вероучение и стройную организацию.

С тех пор понимание близости Господа, о которой говорит апостол, ушло от хронологического буквализма, перейдя от вселенских масштабов к измерению жизни отдельного человека.

Именно христианство некогда породило индивидуализм как осознание ценности отдельного человека, независимо от его родового или этнического происхождения. Именно христианство заявило миру, что теперь человек, выросший до принятия Благой Вести Христа, отвечает сам за себя. Ни весь род, ни весь народ уже не расплачиваются за грех и беззаконие отдельного своего члена. Именно в этой парадигме стала рассматриваться проблема скорого пришествия Христа. Теперь и Пришествие, и Суд стали применимы не к материальной Вселенной, а ко Вселенной духа – к человеку. И близость Господня стала восприниматься как приближение смертного часа, после которого человек должен свидетелься с Богом. Господь стал восприниматься близко не только по времени, но и в мерках духовного пространства.

В этом отношении призыв радоваться, данный апостолу Духом Святым, звучит как призыв ощутить Его присутствие рядом, увидеть Его действие в своей жизни. Здесь нас можно сравнить с младенцем, делающим первые шаги в незнакомом мире, когда тебя еще шатает малейший порыв ветра, когда спотыкаешься о малейшие неровности почвы и пугаешься незнакомых людей. И вдруг тебя берет за руку твой Отец и уверенно ведет по дороге, попутно объясняя устройство того, что тебя окружает. И в тот момент, когда ты взялся за отцовскую руку, тебя наполняет величайшая радость. По-настоящему познав, не только умом, но и чувствами, что любящий Отец рядом, мы просто обязаны быть переполненными радостью – радостью непреходящей.

Благочестива ли печаль?

Если говорить о месте радости в православной духовной традиции, то мы с недоумением обнаруживаем слишком значимое несоответствие того, что мы мним о подлинной духовности, и того, что об этом говорит Священное Писание. В 90-е годы XX века, когда Церковь выходила из долгой несвободы и загнанности, оторванности от живого опыта веры, часто можно было слышать утверждение, что Православие – это религия печали. Богословски это оправдывалось тем, что печаль эта связана с покаянием, и это покаяние должно постоянно навевать на человека мрачное настроение, благочестивую печать вечной тоски.

Конечно, человек в своей жизни не может избежать печали, поскольку грех и страсти господствуют в этом мире. Тот же апостол Павел говорил о необходимости покаянной печали ради Бога, ведущей ко спасению (Кор. 7, 10). Но эта печаль не должна быть по-фарисейски демонстративной и уж тем более не должна изливаться на наших ближних. Наверняка многим из нас приходилось видеть, как некоторые «особо благочестивые» прихожане кидались обличать действительные или мнимые пороки окружающих или же отгоняли от себя людей, заявляя, что они, например, причастились и наполнены благодатью, которую не желают потерять из-за общения с «грешными людишками». Итог подобной жизни, если человек ее не переосмыслит, – плачевен...

В определенный временной отрезок в году – во время поста – христианин призывается к большому покаянному деланию и свершению сугубых подвигов воздержания. Казалось бы, о какой радости может идти речь? Но и по этому поводу есть слова Спасителя: *...Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимся. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно* (Мф. 6, 16–18). Внешнее отражение аскетической печали, которая и сегодня так дорога немалому числу наших единоверцев, Господь напрямую называет лицемерием. Удивительно, что, многократно читая эти слова, мы их совершенно не замечаем!

Как можно постоянно радоваться?

Можно иначе сформулировать этот вопрос: что может во мне поддержать ту самую постоянную радость? Апостол Христов отвечает: мир Божий, веяние Его Святого Духа, не поддающееся осмысленной оценке, должно коснуться нас. И следующий вопрос – о том, как его, этот мир, обрести, – имеет свой ответ: молиться и просить, открывая свои желания перед Богом.

Не только «начинающим» христианам, но и вполне воцерковленным очень сложно понять: когда мое желание совпадает с замыслом Бога обо мне, а когда

продиктовано мимолетной прихотью. Порой нам невозможно найти и советчиков по этим вопросам, ни через книги, ни через людей. И тогда мы просим. Просим, искренне доверяясь своему Небесному Отцу. И тогда же Его волей желание либо исполняется, либо мы не получаем просимого.

Совет апостола не заботиться ни о чем не значит – не задумываться и не строить планы. Он предлагает нам решение наших насущных проблем возложить на Создателя. Часто человек надеется только на себя, а помощь Божию рассматривает как «запасной вариант». Если мы сумели прийти к состоянию полного доверия Господу, тогда Господь обязательно отвечает нам, подавая самое лучшее и спасительное для нас. И если мы вдруг не получаем просимое, то это тоже ответ, показывающий, что просимое нам просто не полезно, а может, даже губительно. Это касается всего – вещей, явлений, обстоятельств и отношений с людьми.

Но независимо от того, получили ли мы просимое или нет, приходит тот самый Божий мир – покой, умиротворение и искомая нами радость.

Печаль как отражение порока

Есть в сокровищнице духовной мудрости еще одна важная мысль, которая связана с жизнью Святых Отцов и основана на опыте их подвига. Они утверждают, что признаком человека согрешающего, томящегося определенными пороками и тайными страстями, является печаль. Эта печаль буквально пронизывает все естество человека. И даже хорошая актерская игра, имитирующая радость, не позволяет скрыть истинное состояние человека. Эта печаль, как правило, не замыкается в самом человеке, но начинает изливаться и на окружающих, ощутимо навевая на них дух безысходности.

Это можно проиллюстрировать словами известного современного подвижника, преподобного Паисия Святогорца, сказанными им в беседе с сестрами одного из женских монастырей.

– Геронда, почему у меня радость резко сменяется печалью?

– Резкий переход от радости к печали чаще всего происходит от искушения. Злобный тангалашка (нечистый дух, бес) борется с человеком, особенно восприимчивым и от природы жизнерадостным, стремящимся проводить жизнь духовную. В этом и состоит его работа, он хочет видеть нас печальными и радоваться. Но с какой стати мы должны позволять тангалашке делать это? Разве радость не лучше грусти? И любовь не лучше ли злобы?

– А вот я иногда впадаю в печаль, а причины не знаю.

– Тангалашка не хочет, чтобы человек радовался. Он находит способ огорчить и тех, у кого есть повод к огорчению, и тех, у кого его нет. Что касается тебя, то мне кажется, что он стремится привести тебя к разочарованию, все больше тебя опутывает тонкими нитями. Ладно, если бы он вязал тебя шпагатом – еще туда-сюда, вроде можно сказать, что есть повод для огорчения. Но ведь тебе тонкие нитки кажутся толстыми веревками, и ты переживаешь. Не мучай себя без повода, потому что этим ты радуешь тангалашку и огорчаешь Христа. Хочешь, чтобы Христос огорчался?

- Нет, геронда, но...
- Никаких «но»! «Христос Воскресе! Ад огорчися!», скажи: «Ад огорчися!».
- «Огорчися!»*

Если человек радостен, причем радостен даже в тяжелых обстоятельствах, то эта радость как раз-таки говорит, что он преодолевает свой грех, уходит от дурных влечений своих страстей. А потому присутствие внутренней и внешней радости отражает признак правильного духовного пути.

И снова цитируем преподобного Паисия:

У человека не может быть горькой печали, потому что если он свою печаль принесет ко Христу, то она станет сладким нектаром. Если у кого-то есть печаль, то это значит, что человек со своими горестями не идет ко Христу.

Эта радость может присутствовать в человеке даже при видимых невзгодах и проблемах. Не животный смех, не злорадство, а именно радость, которая просто так не проходит, – радость от того, что мы есть, что мы общаемся с людьми, что весь Божий мир окружает нас и что Сам Господь рядом с нами!

* Преподобный Паисий Святогорец. Слова. Том V. Страсти и добродетели.

«Царство Божие – здесь»

*Избранные записи в Фейсбуке последних лет**

Смирение – настолько невероятная, небесная, космическая, чудесная и потрясающая вещь, что о ней вроде как подобает помалкивать: пережил, познал – ну и молчи, все равно не сможешь адекватно вербализовать, кому-то пересказать, кого-то вдохновить своим вот этим, вспомни слова Павловы, и проч.

Но любовь не может это потерпеть и хочет непременно таким чудом – поделиться. Не держится у ней. А поскольку, см. выше, говорит-то любовь моим утлым и косным человеческим языком, другого в общем и нету, то – понятно, что подставляется... Первое, что стремится сделать враг с говорящим о смирении своим ближним – естественно, представить его перед этими ближними как очередного разглагольствующего о смирении... Что, понятно, удастся и не дивно в этом мире, в котором давным-давно «дурно пахнут мертвые слова».

Однако враг преуспевает далеко, далеко не всегда.

Слава Богу за всё.

О любви к русской словесности: знал я когда-то человека, у которого жили два кота; одного звали Хвостов, а другого – Херасков.

...Прочел в одном месте, озвучили мнение народное про «Свидетелей Иеговы», что они «разрушают семьи».

Думаю, это мнение народное – из той же серии, что и «средняя температура по палате». Потому что я, например, действительно видел немало разрушенных семей. В том числе семей и повенчанных, и даже воцерковленных. Их разрушили: поспешность и безалаберность их создания, эгоизм и инфантилизм одного или обоих, безденежье и, наоборот, многоденежье, невыносимая тяжесть/легкость бытия, алкоголизм и иные зависимости, нелюбовь. Ни в одной из этих ситуаций «Свидетели Иеговы» никак не участвовали...

* Продолжение. Начало в №№ 2–4 (XLIII–XLV), 2017; 1–4 (XLVI–XLVIII), 2018; 1–4 (XLIX–LI), 2019; 1–2 (LII–LIII), 2020. (Все примечания – ВС.)

(Прошу прощения, на комментарии с началами анализа вероучения иеговистов, поелику я – не об этом, а равно с эскападами «защитник сект и ренегат», я отвечать не стану, – как нынче модно говорить, нет ресурса, да и желания).

«Услышь меня! пойми меня! не смей меня и моё обесценивать! мне больно, больно, больно!» – ежедневно кричат друг другу тысячи тысяч несчастных... и вместе с ними кричат – тысячи тысяч гордостей, самостей.

Похоже, жизнь человека и все, что он о ней знает, – это только трейлер. Премьера еще впереди.

О Прощеном воскресении...

Люди, с которыми каждый день в общении, – это да, с ними диалог особый, и не нужен специальный день для прощения. Это понятно.

Но я не о них.

А о незнакомых, которые и близко не подозревают, какую обиду мне нанесли.

Все эти люди – не соответствуют моей модели мира, не оправдывают возложенных на них мною мечтательных надежд, разрушают мои иллюзии, короче, в их лице предельно ясно, что мир устроен и живет не так, как я от него хочу. Тут обнажается та самая «демонская твердыня», о которой писали многие, не только о. Александр Ельчанинов, и мы, все православные, о том читали, но прочитанное отложилось в нас оскоминой, а толку не было никакого... Сатана не принял Божий мир и захотел – свой. И мы вслед за ним. И глубокая обида на мир, на жизнь, которая идет «не так», на Бога и на людей, которые «не такие» – первый признак гордыни, вируса сатанизма, во мне...

Просить прощения у неведомо кого в Прощеное воскресенье в церкви, смиряясь с тем, что «так положено» людьми до меня и без совета со мною, любимым, просить прощения у тех, кто никогда, быть может, не поймет, за что именно ты просишь прощения, не врать хотя бы себе самому... важно это, нужно ли – тебе, мне, ему, ей?

Во время утрени возникла наипростейшая и ясная мысль: вот мы про Церковь – она то, она сё...

А ведь мы все помрем, и ты, и я, и они.

А Церковь – была, есть и будет.

Рассматривал в Яндексе иконы сорока мучеников Севастийских; примечательно, что на подавляющем большинстве икон, разных стран и эпох, не изображены нимбы...

Но ГЛАВНОЕ – как-то удалось изобразить при этом.

Вспоминается мандельштамовское: «Миллионы убитых задёшево, проложивших тропу в пустоте»...

Когда дочь была маленькой, у нее был учебник по русскому языку. Там было упражнение, в котором в отмеченных местах надо было правильно вставить всякие шипящие и свистящие, типа «бука...ка», «кру...ка», «ска...ка». Фраза от туда до сих пор остается у нас крылатой: «Коке игрушки, а мыке слёки».

Поэт занял свою нишу, застолбил и разрабатывал ее. Ниша давно разработана, нарыть в ней нечего, но вылезти поэту некуда, да уж и незачем, и он продолжает скрести стенки отросшими ногтями, ворочаясь в нише, как в могиле.

Один из гениальных фильмов про депрессию снят, кстати, на студии комедийных и музыкальных фильмов.

Имею в виду «Слезы капали».

Ну как – про депрессию... ну, и про там уныние, и про саможаление, и про все такое... про ад, в общем, и про то, что от него можно проснуться.

Что КТО-ТО может нас от ада проснуть.

Потому что любовь таинственно действует в мире, как партизан в ночи.

И чудо бывает вышито, сделано банальностью и общими местами, как потрясающий гобелен – какими-то очёсками и позапрошлогодней елочной мишурой, и золотинки наклеены, считай, слюнями.

Гениальный фильм? – ага. Если б просто «блестящий» там, «талантливый», – там бы не было сучков и задоринок, было бы глаже выстругано; а так – есть, конечно.

Потому что Данелия гений, Леонов гений, Канчели гений, Шпаликов и Энтин, на чьи стихи песни, – гении, Андерсен, разоблачивший тролля и его зеркало перед всем миром, – гений. И 1982-й год – гениальный год в истории нашей с вами жизни (нет?.. а вспомните-ка).

Урс фон Бальтазар* очень верно и точно назвал чудо «словом для глухих». Словом, которое способно достичь слуха сквозь толщу серных ушных пробок.

Чудо – адресно и конкретно. Множество народу входило в храм, но что-то произошло с одной только Марией Египетской, что-то – только для ее жизни. Помню, когда, много лет назад, в доме наших прихожан замироточил лист картона с наклеенными на него бумажными иконками, к ним, конечно, тут же повалило множество посетителей, все читали там молебны и акафисты, потом лист торжественно перенесли в храм – а он там мироточить перестал; когда сообщили про это архиерею, он ответил: «Не надо нести в храм – происходящее происходит только для них, для их семьи»...

Чудо – грозная вещь. Есть в иерейском Служебнике «Известие учительное», там сказано, например (в переводе на русский): «Если после освящения хлеба или вина будет явлено чудо, т.е. вид хлеба покажется в виде плоти или младенца, вино же в виде крови, и если вскоре не изменится этот вид, т.е. снова не

* Ханс Урс фон Бальтазар (1905–1988) – швейцарский католический богослов.

покажется вид хлеба или вина, но останется неизменным, то иерей никак не должен этим причащаться. Так как это не суть Тело и Кровь Христовы, а чудо от Бога, явленное ради неверия или какой другой вины». Не ради волшебства и восторга, – но грозно ткнуть служащего носом в реальность, ради его немедленного опамятования и покаяния...

Сегодня подошли прихожане с вопросом, который, наверное, каждому батюшке задают по стоицот раз: вот такие-то лица просят денег, подскажите, как быть, давать или не давать?

Стоицот раз, помню, отвечал я на этот вопрос по-всякому, разбирался в обстоятельствах, да в том, кто именно просит, да на что именно, да вот если пропьет, то грех ли это будет, да «запотеет милостыня в руке», и все такое прочее, про что, как вы знаете, нашим братом священником и проповедей немало сказано, и статей и книг написано...

А тут – стар стал, слаб, сил выпендриваться нету почти... ну и ляпнул вслух, для самого себя даже несколько неожиданно, чего думаю на самом деле.

Говорю: откуда ж я знаю, подавать или нет? это же твои деньги, вот и распорядись ими как хочешь. Хочешь – подай, хочешь – с кашей их съешь. Никто, кроме тебя, не может сего решить и сим распорядиться. Ну, могу, правда, раз ты прихожанин, Христа процитировать. Христос чего сказал о таких вещах? «Просящему у тебя – дай». Читал?

Читал, говорит, а как же.

Ну и вот! всё читал, всё знаешь – чего ж у меня-то спрашивать.

Дак а у кого же?..

Вот Кто сказал, у Того и спрашивай.

Ну а тот-то человек, просящий-то!.. С ним как?

А опять Христа процитирую: милость ему окажи. Про деньги – понятия не имею, а про милость – однозначно.

А какую, какую милость?!

Опять-таки я этого не знаю – а ты подумай и наверняка узнаешь. Твоя жизнь, твой труд ума и веры, твои отношения с просящим, твоя тайна.

Подошла, довольно молодая, но уже тётенька.

Смотрит пристально, недоверчиво.

– Нам сказали к вам обратиться.

– Да-да?..

Молчит, оценивает с ног до головы (ей это заметно нелегко: ее макушка достаёт мне до наперсного креста).

– Нам нужен учебник по православному языку.

– Ээ... Может, по церковнославянскому?

Взгляд ее белеет.

Повторяет для тупого:

– ПО ПРА-ВАС-ЛАВ-НА-МУ.

Пытаюсь понять по косвенным признакам:

– А вам вообще для чего?

Взгляд становится не просто белым, а ненавидящим; разворачивается, молча уходит.

Мальчик 4-х лет, живущий в деревне, разломал целлулоидного Ваньку-Встаньку и запихал голову его, изрядного размера, в печку. Сделал он это тайнообразующе, в общем, так, что никто не заметил. Печку затопили. У печки сидел дедушка Тихон с газетой... В печи грохнуло, и из дверки вылетел огненный шар. Вину за ранение, причиненное и без того изношенному сердцу дедушки, мальчик чувствует до сих пор. Еще через три года мальчик, объятый вдохновением, разрисовал свежекупленный матерью белый холодильник йодом и зеленкой, употребив для этого щепочки, обмотанные ватой. Еще через пару лет мальчик и его двоюродный брат во время дождя залезли в сарай и решили погреться, разведя в сарае на деревянном полу костер (двоюродный брат был старше, про него бабушкой было сказано: «Уу, натопырь кожаной! Это он сомустил!» (то есть – «научил, подбил, совратил»), и потому биен был много, а ссыкловатый мальчик биен был сравнительно мало). В общем, тема неисчерпаемая. Недавно очень умилило, что, как поется в песне из культового советского фильма, «те же повадки у наших детей» – например, внук мальчика в том же возрасте четырех лет точно так же запихал себе в нос пластмассовую игрушку, и родители возили его на скорой извлекать. Жизнь жительствоует, одним словом.

Апостол Павел писал, что во Христе нет ни мужеска пола, ни женска*.

Думаю, это означает, помимо всего, что во Христе нет ни матриархата, ни патриархата.

(Разумею не сам по себе гендер, а основанные на нем механизмы и традиции власти, насилия и манипуляции).

В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам! Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа (Ин. 20, 19-20).

Что показал им первым делом? Раны Свои, от гвоздей и копья, которые остались на Его воскресшем, новом теле, как нечто очень важное. И они сразу поняли: это именно Он, их Учитель, единственный, распятый за них, прошедший сквозь смерть. Не подделанный, не иллюзорный.

Радость воскресения есть – нет детской безоблачности: воскресение – не

* См.: Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе (Гал. 3, 28).

кролик пасхальный, к воскресению – путь через страдание, через крест, через преодоление сопромата и смерть.

И Фома, увидев те же раны, тоже сразу: *Господь мой и Бог мой!* (а не палец засовывал, как изображено во многих живописных произведениях). Так что слоган «Фома неверующий» – дурацкий: какой же он неверующий...

Один из простых признаков, как определить на многолюдной службе (например, на панихиде в Радоницу, совершаемую посреди храма), кто примерно прихожанин, а кто захожанин: прихожане стоят и молятся лицом к алтарю, захожане – лицом к архиерею и священникам.

Да, впрочем, важно ли сие, наше ли дело делить – пусть делит на агнцев и козлиц Господин из притчи евангельской...

В деревне некий отец затащил в подпол пятилетнюю дочь, изнасиловал... Тот, кто мне про это рассказал, говорит: попадись бы вот мне – убил бы моментально... Да и кто бы не убил, это так.

Помните, в третьей серии «Игры престолов», как Король Ночи своим мановением поднял мертвых – и голубой свет нежити загорелся в их глазах, в глазах родных павших друзей?.. Подумал я, увидев сие, вот о чем: добро, вооружившись до зубов праведным гневом, двинулось в поход истребить зло – и вот само становится злом.

Думаю, смысл слов: *Уклонися от зла и сотвори благо** – еще и вот в чем: полезешь убивать зло, а оно как магнит притянет тебя и сделает собой. «Умрешь и станешь ими». Не осилишь, есть вещи, которые самому не осилить, зови на помощь Бога – а сам беги, не касайся радиации зла. И сотвори благо, вот это будет истинный удар по злу. Хоть какое-нибудь.

Итак, провещав вся сия, пойду искать, кому бы какое нанести благо («не был бы ты невежей – не ходил бы с головой медвежьей», см. душеполезный фильм «Морозко»).

Есть пирожки разные...

А есть – пирожки юности моей, именуемые «тошнотики»; их продавали на улице, выдавали завернутыми в оберточную бумагу (сейчас ее именуют «крафт»), там была толща горячеватого, крученого, по мере остывания быстро костенеющего по краям, промасленного жареного теста и внутри – помазано той или иной начинкой; были с повидлом, а были – смясомсрисом (одно слово); не помню вот, сколько стоили.

Мысль простая, но как часто затуманивающаяся, выпадающая из сознания в суете и шуме повседневности:

* Пс. 33, 15.

сами по себе таинства – не производят Духа, но созданы для приятия Духа; сама по себе чаша не производит вино – она создана для наливания в нее вина и питья из нее.

(В свете этого – что значит знаменитая история о том, как дети играли в литургию и у них получились Св. Дары? Думаю, просто педагогическая история, наставление детям – о священном; сомневаюсь, что, попробуй раскатавшие губу дети установить из этой игры обыкновение, повторять игру снова, результат был бы тот же).

То же самое, конечно, – и обо всем в Церкви: собрание таких или иных людей, обладающих такими или иными свойствами, иерархии, традиции (преемственность, то есть идея, что Дух живет, например, в пузырьке с благовонным миром), каноны, обряды, символика и проч.

Один Дух животворит, – сама по себе церковная плоть, органическая или неорганическая, не пользуется нимало.

(Ну, и о том, что где Дух Господень, там свобода; что так или иначе обусловить, принудить Дух животворить – не выйдет, а сколько, сколько раз пытались, и говорить нечего).

- Поэт в России больше, чем поэт..
- Зато прозаик меньше, чем прозаик!..
- А драматург? Он больше или меньше?!
- Мой друг! терпите: мы живем в стране, где всё всегда во всём не по размеру..

Сегодня, едучи в машине, услышал по радио часть беседы с Анитой Цой (меломаны, помните какую-нибудь ее песню?..).

Она рассказывала, как пыталась приготовить осьминога, а перед тем – как пыталась его убить: взяв за щупальца, била головой о камни, потом скалкой била по голове, а он противился; наконец, полуживого бросила в кастрюлю с кипятком...

Я и раньше не любил морепродукты, а тут как-то и вовсе стало нехорошо.

Погодные приметы на вчерашний день, увиденные в Сети:

«Петух трясет головой, поет не ко времени — погода испортится.

Коршуны в небе парят – день будет ясным.

Лягушки прыгают на суше – к дождю.

На небе появились сполохи – погода изменится.

Кони ржут — будет хороший урожай овса.

Сова начала яйца откладывать – в ближайшее время начнутся дожди.

Утки притихли – к грозе».

Как у вас, москвичи? Откладывали ли совы яйца на балконах Южного Бутово? Ржали ли кони на станции «Тропарево»? Притихли ли утки ЦАО?..

Когда лет двадцать назад я прочел слова о. Александра Меня о том, что Церковь наша еще слишком молода, я ухмыльнулся: ничего себе – «молода»!..

Сейчас-то знаю, что точно так и есть.

Пока еще тельце устрицы защищается от инородного, от мусора, пока еще внутри раковины ничего не видно, кроме какой-то мути, слизи из арагонита, конхиолина и воды; но это растет – жемчужина.

Вот имена, что у всех на слуху, – новообращенных: Тутта там Ларсен, Петр Мамонов, может, Валерия Гай Германика, Кинчев, кто еще (это не приглашение к разговору именно об этих человеческих и медийных фигурах, просто чтоб немного прояснить контекст). Что являет собой их публичное исповедание веры, и не только веры, но и православного вероисповедания?

Вспомнил Достоевское: «Через какое горнило моя осанна прошла!..»

Так часто бывает: после ада и горнила – осанна. И разбойник Опта встает, исполненный теперь этой осанной, отбрасывает нож да дубину и идет Оптину пустынь основывает, и т.д. Так бывает.

Близко ли лично мне ...не то что мироощущение осанцев (оно-то близко, ведь Христос-то один, вот же Он), но их символическая система, культурные и субкультурные коды и все такое? Станный вопрос!.. «Другому как понять тебя», мы все разные.

Но лично мой ответ на этот странный вопрос, не полный, но все же есть: мое горнило еще не кончилось.

И еще: радость. За то, что Льюис назвал свою – насколько мог искреннюю – биографию именно «Настигнут радостью», его сегодня не смешивают с говном – почему? Первое, что напрашивается, – да потому что он далеко. У нас любить умеют только мертвых, поэт верно заметил...

Не забывайте о радости, друзья. Она есть. И она очень важна.

Недавно от одного простого церковного человека услышал: «Собираем благодать по каплям, а потом разливаем ведрами»...

Сегодня служили литургию в доме инвалидов... так хорошо.

Думаю: а есть ли еще в мире храмы Воскресения Христова? Мы-то его 18 лет назад как назвали – просто: сделали народы в помещении бывшего склада всякий ремонт примерно к Пасхе. Говорю – ну, давайте и назовем тогда – Воскресения Христова! а тогдашний архиерей и утвердил, недолго думая... так оно и ведется с тех-то пор.

Посмотрел в Википедии – оказалось, много наших тезок, от храма Гроба Господня до храма в Свазиленде, например.

Пришлось зарегистрироваться в одной Википедии, чтоб как-то и наш храм там помянуть.

Христос воскрес!

И – с днем крещения Руси!

О чем было бы уместно помолиться именно в этот день, ну, раз уж мы его как-то отмечаем? Не все же раз в году вытаскивать из сундука «наследие», отряхивать нафталин, говорить моли «кшши!», выкладывать «наследие» в витрину, водить вокруг него хоровод, а потом опять укладывать в сундук и засыпать нафталином, надо же и помолиться о чем-то.

Я бы, например, помолился в сей день о сбыче несбыточной, на мой взгляд, мечты.

Какой? А вот какой.

Заглянув в Википедию, я узнал, что у нас в России 75% – крещеного населения.

То есть подавляющее большинство.

Вот бы помолиться о том, чтоб все эти крещеные – стали бы все христианами.

То есть – имели бы в своей жизни, вне зависимости от того, где они работают, каков их статус социальный, образование и проч., заповеди Евангелия как главный для себя самих закон, как норму и как творческое задание.

Что бы случилось тогда с нашей российской действительностью?..

Трудно даже представить, честно говоря.

Днесь память св. пророка Божия Илии.

...А сам отошел в пустыню на день пути и, придя, сел под можжевелевым кустом, и просил смерти себе и сказал: довольно уже, Господи; возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих. И лег и заснул под можжевелевым кустом. И вот, Ангел коснулся его и сказал ему: встань, ешь и пей.*

– Не лучше, не лучше, – сказал суровый и невероятный Господь и погладил чадо по суровой и невероятной головушке. – На-ка вот... поешь сперва.

Форма эскапизма – геймерство.

Деление мира на «вселенные» и погружение в них.

Вселенная игры такой.

Вселенная игры такой.

Вселенная игры этакой.

Вселенная Людей Икс.

Вселенная Готэма.

Вселенная Марвел.

Вселенная «Игры престолов».

Вселенная сериала такого.

Вселенная сериала такого.

Вселенная Толкина.

* 3 Цар. 19, 4, 5.

Вселенная Нарнии.
Вселенная Кафки.
Вселенная Достоевского.
Вселенная буддизма.
Вселенная гаитянского вуду.
Вселенная русского православия.
Вселенная эфиопского православия.
Вселенная мексиканского католичества.
И так далее.

Жить и умирать по законам «вселенной», не замечая прочего мира, даже не игнорируя его – а в самом деле не видя.

Недавно встретил даже: «погрузитесь во вселенную Библии».

«Вселенные» плывут и расплываются по миру как нефтяные пятна по воде, как рак по организму...

Осталось ли вообще некое простое реальное пространство, и что вообще означает – «реальное», и что мы когда-то называли «простым»?..

«Возможны ли стихи после Освенцима»...*

Ну, моральный посыл этих слов – понятен, конечно.

Но стихи... они ведь не спрашивают.

Приходят сами и пишутся – всегда. Не спрашивая. В самое неудобное время и место. До Освенцима, после Освенцима, во время Освенцима, в кровати, на работе, на унитазе, в грудe дел, в суматохе явлений, хорошо ли тебе, мерзотнотозно ли тебе, в разгар зомби-апокалипсиса, в полном отсутствии оногo, в осмысленности бытия, в бессмысленности бытия.

Кто пишет эти самые стихи – подтвердят.

Подумал вот что: уйти в мир, в котором нет людей, то есть ближних, – уйти хоть на немного и от вины, воспаления, тревоги, туги, заботы, страха, дробной суеты, уйти и самого себя оставить там же, и не за этим ли уходили в пустыню анахореты, и проч....

Но христианство уж таково, что непременно надо возвращаться в мир ближних.

Из кратких тезисов житейских (прежде всего – для себя самого), родившихся в разговоре:

– Почему, если у человека некое психическое заболевание, нельзя пойти к бабушке, ведь врача-то хорошего поди-ка найди?

– Примерно потому, что, если под рукой нет еды, не стоит есть кирпичи.

* Парафраз известного изречения немецкого философа Теодора Адорно (1903–1969): «Писать стихи после Освенцима – это варварство».

День сегодня выдался хороший, нежаркий, солнечный уже по-осеннему...

На литургии в доме инвалидов – чтение из Евангелия от Матфея, про то, что горе книжникам и лицемерам, про поедание домов вдов и воскрися.

Там, в общем, и толковать-то нечего, и так все понятно. Думаю, многие прихожане так и толкуют себе: вот, про попов это. Да и сами священники так толкуют – про нас это, и вздыхают.

Представил себя – в окружающей Его толпе, жадно впитывающей в этот момент каждое Его слово... Глаза горят истстрадавшимся злорадством, ибо кто ж не натерпелся от них, книжников и лицемеров, ворюг и кровопийц, и рты мычат: «Ддддаа!.. ддддааа!..», и кулаки стискиваются: доколе, так их, так их, ай да молодец Сей в одиночном пикете, ай красава, наш человек!..

А потом вся эта толпа перемещается на другую площадку, и тоже глаза у всех светятся, как пел Высоцкий, «здоровым недобром», и кричат, и тоже искренне, вместе с теми самыми книжниками и фарисеями, на которых давеча кулаки сжимались: «Распни, распни Его! Кровь Его на нас и на детях наших!».

Как же, как же – так-то?..

Да так.

Так уж оно, в нашем падшем мире, бывает.

Просто назавтра был общегородской праздник, народные гулянья, и всем включили концерт ко дню милиции, на предприятиях повыдавали скудный аванс, и все пошли с женами, с детьми, и пиво кругом изобильно, и шашлыки, и вечером салют, и те, кто со сцены эхом в микрофонах мажорное блаблабла, и те, кто под сценой в толпе, и девчонки у молчелов на плечах крутят телефонами – стали едины, потому что ну что ж что ворюги и кровопийцы, а все равно все мы за родину если что, и на границе тучи ходят хмуро, а деды воевали, и врагов порррррем на части господу хваля, а как совсем стемнеет – обнимемся и выйдем ночью в поле с конем, и будем там страстно рыдать пьяною густою пустою коллективной слезою о сладостной, мнимой, сияющей, как сварка, скоромимоходящей причастности к чему-то постылому, но таки единому и большому.

Дети, слушающие дурацкие взрослые песни и по-своему, по-ангельски, их интерпретирующие, – это тема.

Много лет назад один ребенок услышал песню «Туман» в исполнении группы «Сектор газа». Там были слова:

Все пошло на сдвиг,
Наша жизнь как миг,
Коротка, как юбка у путан...

Ребенок перенял бойкий ритм и мелодию, и пел:

Коротка, как юбка ампутан...

На вопрос, почему так поет, пояснял: «Ампутаны – это у кого ноги ампутированы. Ног-то нет, потому и юбки короткие».

«Ешь!» – воркуют они и подают тебе духмяное, теплое, свежеподжаренное, вкусное...

И ты жадно ешь, а как еще, ты ведь страшно голоден, а они внимательно следят, смотрят... и говорят: «Ну что, вкусна человечинка?».

И если ты не выблевал тут же внутренности вместе с душой – съеденное может вполне себе усвоиться в твоём организме, и ты даже можешь выжить...

Что выберешь?

По-моему, выживание далеко не всегда = жизни.

Далеко не всегда.

Бывает выживание позорное, мерзкое, такое, что любая смерть – выше, чище и лучше его.

За поворотом реки – уже осень.

Листья лежат на воде, и солнце, ласковое невысокое пожилое солнце, и легкий стылый туман. И капля падает с весла точно в то место, куда упала предыдущая, медленно, длинно, словно слово «бадаламенти».

За поворотом этой реки, верьте, всё-всё сбудется, и мы узнаем, кто убил Лору Палмер*, и почему она улыбается во сне, и будем счастливы.

Отчего – верлибр? Что он есть?

Жертва.

Стих, из которого высосал краски, формы, запахи, нарративы и прочее плотное – кинематограф. Видеокультура, как мы сейчас говорим.

А остался – голый стих.

Но он – живой.

И вот теперь-то, когда ему больше нечего терять, возьми ты его, как Жеглов говорил, за рупь за двадцать!..

Не возьмешь.

Он крут.

А кино... ну что кино.

С ним все понятно.

Не зря же мы с вами не говорим же: «верлибр и немцы», а так и говорим – «кино и немцы!».

Думаю сегодня об о. Александре Мене, а во время литургии в доме инвалидов (солнце, осень, яркое голубое небо, внимательные глаза всех немногочисленных пришедших) – читал евангельское зачало, начало 6-й главы от Марка

* Персонаж телесериала М. Фроста и Д. Линча «Твин Пикс» (1990), чья смерть послужила завязкой для развития сюжета всего сериала.

(начал немного ранее места, указанного в календаре), начал там, где Христос пришел в местечко, где провел детство и юность, и дивился неверию людей; и как-то это все сплелось в одну думу...

И Сам Христос – чужероден миру сему, потому и был распят; и христианин – чужероден миру сему.

Но что это означает?

Что надо отторгнуть мир и людей, жизнь, и, чего не дай Бог, гордиться своим изгойством и инаковостью?..

Нет, конечно.

Что такое «мир сей» – очень хорошо чувствуешь и познаешь вовсе не на других людях, социуме, государстве, или каких-то там аспектах творения, а на самом себе: как тобою, как марионеткой, двигают так и сяк грехи, мерзости, подлости, слабости и сонности, невроты, фобии, мнимости и невысказуемости, и при этом сам же на себя смотришь со стороны, то есть на весь этот данс макабр – и люто тоскуешь, что ничего не можешь поделать, и испытываешь невыносимую тугу.

А кто испытывает тугу?

Новый христианский человечек, который зародился.

Вот он и чужд миру сему, иной для него. Ветхий человек – вот образ этого самого мира-то сего.

Подумал, что вот эта туга и наличие внутри меня этого человечка означает, как ни странно, не мизантропию, а совсем наоборот – ступеньку для хоть какой-то любви к ближним: начинаешь и их, подлых, слабых и тленных, не осуждать и не предательски оправдывать, а – как-то понимать, жалеть и миловать: ведь и в них человечки, и они-то тоже справиться с собой не могут. Так и соседи по улице в Назарете, про которых Марк пишет, – не специальные же вражины, не демоны же, просто обыватели, обычные люди, у которых новый человечек еще не народился, у них еще все впереди, может...

И еще подумал: эта туга – муки родов.

Все-таки из всех аспектов Церкви мне ближе и понятнее всего – семейный.

Бог – Отец, мы – дети («молитесь же так...»).

Крещение – не зачисление в ряды организации, а рождение, водой и Духом (Творец – беспрестанно рожающий нас Бог).

Причастие Тела и Крови – вкушение части тела матери, молока, теснейший контакт.

Церковь – семья; все, кто вне – тоже родные, но – сироты, детдомовцы, беспризорники.

(Во всем вышесказанном – НИКАКОЙ оценочности, имейте в виду!)

А все роды, куда уж деваться, сопряжены в этом мире – с мукой.

Вот и мне, с моим новым человечком, мучительно: рожаем вместе с Богом – меня... Боль, крик, риск, пот, неприглядность, кровь.

Чуждость миру сему как состояние родов, «вся же сия – начало болезнем»;

может быть, и это имел в виду о. Александр, говоря, что Церковь еще в сем мире новорожденная, очень молода?..

И я не вспомню себя от радости, увидев, что явился новый человек в мир; а вместе с ним – и явился НОВЫЙ мир, а без него – никак бы не явился, то есть – без меня...

Буди, буди*.

Недавно прочитал в ФБ, что видели книгу стихов некоего поэта с 11-ю предисловиями.

Нет, ну а что.

Подлинный любитель поэзии всегда сможет почувствовать стихотворение даже и через толщу предисловий, как принцесса – горошину через перины.

Ходили сегодня в дом инвалидов, причащать, в один из корпусов (ну, теперь он – ПНИ). Три этажа, много народу.

Повстречал двух атеистов. Из тех насельников, которых раньше не встречал, недавно привезли, наверное.

Один – мужчина такой пожилой, солидный, седой, фактурный, встречен в коридоре около палаты. На вопрос тетушек-помощниц, крещен ли он, несколько даже обиделся: «Вы что?! У меня сын – врач, как я могу его опозорить?!».

Второй сидит в палате, не стар, лет 50-60, коротко стрижен, темноглаз, живехонек речью, быстр чертами лица и движениями (хочется написать даже – «шустр»), на одной руке пальцев не хватает, на койке – огромный том Белинского, издания, наверно, годов 50-х, судя по внешнему виду; приветливо поздоровался со мной за руку.

«Я крещеный! Но я неверующий. Я, кстати, Меня читал!» – «Ну и как вам?» – «Ну как сказать!.. Вот к вам бы подошел корреспондент с вопросом: как относитесь к женщинам? А вы бы такой: пардон, но нет, я отношусь к мужчинам! Короче, атеист я. Но к вам хочу прийти! Мне очень интересно понять, как вы устроены!» – «Конечно, говорю, приходите!»

И день такой славный, солнечный (хотя голова и трещит и всего колбасит от резкой перемены погоды: с холода и дождя сразу на +20-25).

Жало смерти со всего маху ударило в камень; от удара пошли круги и не успокаиваются до сих пор.

Рассказывали доподлинную историю, как на экзамене один боголюбец, увидев вопрос: «Поиск “исторического Иисуса”», возмущенно воскликнул: «Да я про такое даже думать не хочу!..».

* «...Надо, чтобы не церковь перерождалась в государство, как из низшего в высший тип, а, напротив, государство должно кончить тем, чтобы сподобиться стать единственно лишь церковью и ничем иным более. Сие и буди, буди!» (Ф. Достоевский, «Братья Карамазовы»).

Экзаменаторы рассмеялись и поставили ему четверку.

Еще был отзыв: «Конец света уж скоро, а они всё исторического Иисуса ищут».

Давным-давно в нашем Красноярском ТЮЗе был спектакль «Пеппи Длинныйчулок». На одном спектакле, когда Пеппи сказала: «А вчера я видела, как по улице, взявшись за руки, прошли четырнадцать лысых!», из зала раздалось: «Это были призывники!».

Молодым сейчас живется страшно тяжело. Нам, людям старших поколений, иногда и в голову не приходит, насколько.

Идеологи антихриста сегодня, в частности, стремятся извратить одну из важнейших вещей – представление о свободе. В их интерпретации, свобода – это возможность делать и иметь что пожелаешь, за определенную мзду. Молодые – осознанно или, чаще, неосознанно, бунтуют против этого как могут, потому что душа-то у них живая. Кого-то сломали, и он влился в потоки потребления. А кто-то горит, болит, яростно царапает всех и вся когтями, как загнанный в угол раненый котенок, не хочет.. И не удивительно, что один из потоков этого бунта – самоубийство, то есть отрицание, живое «нет»: чем в ТАКОМ мире – лучше прочь от него.

Говорили с Саввой об этом, и еще о крестовых походах, ассасинах, солипсизме, творчестве, мировом правительстве, смысле жизни, смысле протеста. Дал ему почитать Терри Иглтона, «Был ли Иисус революционером», – не знаю, пригодится ли ему там что, просто пришла в голову эта книжка..

Надеюсь только на Христа – Савва из всех детей моих один пока что сохраняет с ним живую церковную связь, хотя ему от этого, вижу, некомфортнее и больнее всего.

С этими поэтами – смех на палке, знаете ли!..

Вот, к примеру, тема: кто поэт, а кто нет; и критерий знаете каков?..

А никаков.

Все чисто индивидуально. Например, в годах суций и заматерелый поэт читает стихи иных, морщит нос и говорит: «Фигня!». И выходит – фигня; как там Ира Перунова точно рече: «И будет воробей по слову твоему».

Потому что поэт (Ира) суть профет, как сказал – так оно и есть.

Я вот, например, как для себя поэтов определяю?

Тоже нечто вроде своей системы у меня есть.

Если я, например, из пишущих стихи какие-то строчки запомнил, меня поразившие и въевшиеся в память мою, – те для меня и поэты.

А есть такие, и заслуженные, и авторитеты... я из них ни строчки не помню. Не процитирую, ничего такого.

Но почитаю и величаю их, якоже заслуженных поэтов, и ни словом не уничижу. Может, они кому-то другому нравятся.

Мало того – и длиннющую очередь дышащих им в затылок не уничижу, и никого фигней, ну или там графоманом, не обзову.

Думаете, от политкорректности?

Никако.

А от слов апостола Павла о том, что всяк пред своим богом стоит и всяк пред своим богом падает.

Взялся перечитывать Книгу Левит (в издании 2015 года, поклон Андрею Десницкому и его переводческим трудам).

Мне сказали: Левит?! Самая скучная книга в Библии, оно тебе надо?!

Надо.

Краткое и предварительное мнение: Ветхий Завет – ограничение, утеснение и смерть, без которых нет Нового Завета – свободы, воскресения и жизни. (Не в смысле «нет и не бывает» – а в смысле усвояемости человеками).

Все ветхозаветные книги – книги детства, и попробуй скажи, что ребенок в тебе мертв и яко не бымши! Что ты стопроцентно взрослый, о человеке, что ты прям РОДИЛСЯ взрослым.

Сегодня на литургии – притча о сеятеле.

Притчи Христовы просты; просты и ясны и заповеди Божии.

Вот принять эти слова, те самые семена слова Божия, а тем более претворить их и взрастить в своей жизни – действительно тяжело. И одна из причин такой трудности понятна: эти слова – как солнце ясного дня, а я одной ногой живу все еще в сумраке падшего мира, я привык там жить, я вижу всякие «таинственные латании на эмалевой стене», тени, намеки, оттенки тьмы... А Он говорит просто: «Шма, Израэль! Слушай сюда: Я – Бог твой, один и единственный, а это всё – тени, не делай ты себе бога ни из которой... Настанет утро, взойдет солнце и вот, всходит уже, и учись жить при свете Царства, а прочее – от лукавого».

Думаю о том, что, читая Христовы притчи, и я, и наверняка еще многие (простите за неуклюжесть оборота! это пытаюсь изобрести эвфемизм навязшему в мозгах вековечному поповско-проповедническому «мы») – подставляют себя туда, ищут: а я? вот в притче-то про сеятеля? где тут – я?.. Ну и конечно: да, это про меня грешника, внутри у меня – сплошные сорняки и тернии, заглохло там семя Божие, и что же мне делать!.. Когда такое отношение превалирует, что оно есть: смирение-покаяние? Не знаю; я бы не сказал. Думаю, от такого самосуда весьма недалеко до отчаяния, вводить в которое враг изрядный мастак. Думаю, напротив: мы ведь (уффф... да ладно, пусть будет уже «мы»!..) – знаем и любим Христа, мы в Его Церкви, мы у Его Чаши. Бываем мы – гаже некуда, но вера-то жива, и наша грядка – это все-таки, если по притче, та самая добрая почва, и семя слова Божия в ней живет и растет. И процветет эта грядка в Царстве как райский сад. Ну, пока что – не без сорняков, конечно, это да, так на то нам и даны грабельки и тяпочка. Там в притче есть еще словечко одно, в том месте, где о приношении плода, – «терпение», и словечко это золотое.

Почему Бог не являет нам чудеса и не исполняет наши желания (в самом расхожем популярном смысле) ?

Может быть, потому, что Он тогда перестанет быть для нас Богом, Самим Собой. И любовь тогда станет невозможна.

(Эта, как и многие прочие, почеркушка-на-полях, вероятно, требует раскрытия, уточнения, пояснения и проч., но оставляю как есть; пришло же это в голову после сцены в итальянском сериале «Чудо. Слезы Мадонны», где дочь подмешивает кровь, источаемую статуэткой Мадонны, в суп своей парализованной матери, надеясь на исцеление: а вдруг. И вот если выйдет – сколь велик риск, что эта кровь перестанет быть собой, перейдет в разряд вождельного лекарства, и невероятный, «совсем-иной» смысл чуда исчезнет... Впрочем, я посмотрел пока только две серии, не знаю, что там дальше).

Давным-давно, когда я работал в одной строительной организации на участке «Промэстетика», все его работники увлекались зимней рыбалкой (летней тоже, но зимней – особо; про этот вид хобби в народе ходит нехорошее изречение: та же пьянка, только в валенках). Обсуждали конструкции палаток, конструкции печек, как не угореть от печек, сколько мешков пельменей надо наморозить на рыбалку, как не уйти с машиной под лед, и проч.

Из летних же бесед о рыбалке этих моих соратников – помню кусочек одной беседы, про змею:

– Змея – самая опасная. Чо ты ей сделаешь. Сзади подойдет молчком да каак жогнет.

Еще вспомнил байку про рыбалку, рассказанную теми же: поехали на рыбалку поздней осенью, когда по ночам – заморозки и иней; по дороге перепились; увидели – блестит водоем, кое-как к нему подрулили, размотали удочки, закинули в водоем, повалились спать; поутру увидели: удочки закинуты в блестящее инеем капустное поле.

Посмотрел последнюю, восьмую серию итальянского сериала «Il Miracolo» (в нашем показе – «Чудо. Слезы Мадонны»).

Всё так. Явление Бога – ничего насильно не меняет в этом мире; но Бог – *участвует* в нем, в самой простой и конкретной гуще нашей жизни. Статуя Девы Марии плакала кровью не для того, чтоб эта кровь была разобрана как лекарство от бед и болезней, не для... в общем, ни для чего. Просто Христос в данной конкретной ситуации – плакал об этих людях, Своею живой кровью, которую изливал не мерой (по фильму – 9 литров в час, так что ученые и военные, исследовавшие феномен, обсуждали: вот бочка, еще много бочек – что будем с ней делать, нагрузим танкер, куда его деваем?..).

Господь наш Иисус Христос и Его Мать – плачут о нас кровью, о нас вотсейчасных, конкретных (почему молитва премьер-министра осталась «неотвечен-

ной»? – потому что эта кровь – не волшебная, она – сострадание, и о его погибшем сыне, и о нем самом). Не «вчера», не в «будущем», не предсказывая его, не морализуя и проч. А вот сейчас. О том, какие мы и что мы делаем и с нами делают – сию минуту. И верят в нас, в то, что мы – люди, дети Божьи, способные отвечать за свою жизнь, и понять, и исправить ее.

У меня самый любимый персонаж в сериале – Сальво. Он слаб, ничтожен. Подкидыш, сирота; тот, кто вырос из милости в семье дона мафии (что такое в Италии мафиозные семейные отношения – нам в России с маху и не понять, хотя все мы и Марио Пьюзо читали, и прочее....). Он – неведомый сын священника отца Марчелло, он – «крапивное семя», он повез убивать своего слабоумного сына по приказу своего дона, он не смог его убить, и себя не смог убить, ему и явилась плачущая кровью Мадонна... И то, что мама в конце концов находит его – закономерно. Законы любви исстрадавшейся – законы Царства.

Среди событий и праздников церковных сегодня, например, празднуется «Воспоминание великого и страшного трясения, бывшего в Царьграде». Про него говорится: «В 740 году Константинополь и многие города Византийской империи поразило страшное землетрясение. В столице рухнула часть башен Феодосиевой стены, разрушены были многие здания. Это было знамение конца царствования гонителя православных святых иконоборческого императора Льва III Исавра, умершего через несколько месяцев после этого события». Помню, давным-давно на вечерне этого дня клиросные спросили: «А какой запев на каноне будет?» Я машинально пошутил: «Святое трясение, моли Бога о нас!», вошел в алтарь и забыл о шутке, пока не услышал сей запев действительно читаемым вслух...

Сколько всякого дадено церковной Руси в наследство от Византии!.. Иногда видится – старый бабушкин комод; наследники перебирают содержимое ящиков: пачка писем, перевязанных ленточкой (чьих? кому?..); желтые ломкие фото; некоторые предметы узнаваемы – вот костяной гребешок с выломанными по местам зубьями, вот плоское, латунное – наверно, пудреница (тут наиболее начитанным припоминается рассказ Зощенко, персонажи которого нашли заграничный порошок и пудрились им, не зная, что он – от блох), вот пузырьки из-под духов – вот этот наследница решила оставить, ведь в нем еще сохранился запах, напоминающий наследнице о чем-то, не бабушкином, конечно, а уже совершенно своем; а вот штучка непонятная, но красивая, ее можно отчистить и поставить на полку...

Как восстановить живую связь памяти? Задача.

«Тонкие материи требуют другой пристальности»

На вопросы ВС отвечает поэт Вера ЗУБАРЕВА

– В этой рубрике мы беседуем или с поэтами, пишущими на христианские темы, или с критиками и литературоведами, которые пишут о таких поэтах. Вы – человек «двоякодышащий», и поэт, и исследователь литературы... Кстати, кто хронологически возник раньше – поэт Вера Зубарева, дебютировавшая еще в «перестроечной» «Смене», или она же – литературовед?

– Раньше дала о себе знать Вера, срифмовавшая в три года: «Убежал лисенок в лес и на дерево залез». Отец оставил запись об этом. Наверное, с того момента ко мне стали относиться серьезно в семье. Под семьей я имею в виду еще и соседей по коммуналке, которых я называла своими приемными бабушкой и дедушкой. Они терпеливо записывали за мной мои собственные сказки, но мне казалось, что они это делают чересчур медленно. В пять лет я, наконец, выучилась писать печатными буквами и стала независимым писателем... И по сей день продолжаю им быть.

– Тогда и начнем с вас как поэта – тем более что в этом году вышла книга стихов «Об ангелах и людях. Трактаты и поэмы». Ангелы – вообще довольно частые гости в современной лирике, необязательно даже религиозной. Но ангелы из вашего поэтического трактата – это нечто другое...

*Ангелы не знают никаких забав
И полностью лишены фантазии,
В чем сразу же убеждаешься, попав
В их отлаженное однообразие.
Это портные, отрезающие грехи
Лежащим в примерочной их солярия.
С их легкой руки
Попадаешь в рай
Собственного левого полушария.*

В предисловии вы говорите, что это написано как бы «от лица» «сознания современного человека», и «как интерпретировать это сознание – зависит от читателя». И все же: вы наверняка сталкивались с разными интерпретациями – какая из них была вам ближе?

– «Трактаты» – произведение художественное. В отличие от настоящих трактатов, написанных реальными учеными или философами, за ними стоит лицо вымышленное, литературный герой, которому присуща своя интонация, образ мысли и другие особенности. Это образ псевдоученого, пишущего псевдотрактаты. Важно понять, кто говорит, а не только о чем говорится. Даже больше – без понимания того, кто стоит за всеми этими псевдонаучными формулировками, исказится и смысл самих формулировок.

Позиция автора в традиционных трактатах предельно открыта, поскольку его задача – донести смысл своей теории до аудитории. Позиция автора моих трактатов – скрыта. Она выводится опосредованно путем анализа образа этого псевдоученого. Он противоречив, мечется из одной крайности в другую, из одной прогрессивной теории в следующую, из марксизма к феминизму, дарвинизму и атеизму. И заканчивает совершенно неожиданно, а может быть, и сам того не замечая, хвалой Богу: *Душа – это остроумнейшая победа над Запретом / И лучшее человеческое изобретение до сегодня, / Выполненное с должным этикетом / И почтеньем ко всему, что есть дело Господне.*

Здесь одно противоречит другому, конец никак не выводится из начального посыла о том, что это человек создал себе душу, а не Господь. И таких неувязок уйма.

Юмор этой ситуации был прекрасно понят при постановке фильма-балета по «Трактату об ангелах», который транслировался по американскому телевидению. Роль псевдоученого, читающего текст, играл филаделфийский актер Майкл Дюра, и это был просто всплеск остроумия и веселой фантазии. Помню, на презентации «Трактата об ангелах» в Цюрихе, где книга была издана в двуязычном варианте, в прекрасном переводе известной австрийской писательницы Кирстин Брейтенфельнер, меня спросили, является ли «Трактат» пародией на ангелов. На что я ответила, что если это и пародия, то на современное сознание, пытающееся с научными мерками подойти к тому, что этими мерами измерить невозможно.

– Часть «Трактатов» составляют три поэтических трактата – «Трактат об ангелах», «Трактат об обезьяне» и «Трактат об исходе». Судя по всему, писалось все это не один год...

– Никогда бы не подумала, что после «Трактата об ангелах» будут написаны еще два. Но сие от меня не зависело. Да и первый трактат словно вышел из-под пера против моей воли. В то время я училась в докторантуре Пенсильванского

университета и увлеклась теорией предрасположенностей, да так, что защитила докторскую по чеховской комедии на ее основе.

– А что это за теория?..

– Ее создатель – ныне покойный московский ученый экономист, профессор Пенсильванского университета Арон Каценелинбойген. Впоследствии я преподавала с ним эту теорию студентам и аспирантам... Так вот, когда Арон поведал мне, как он приложил эту теорию к концепции развивающегося Бога, меня это чрезвычайно заинтересовало. Ожидалось, что я каким-то образом сумею популяризировать его взгляды. И я долгое время раздумывала, как это сделать. Но вопреки моим благим намерениям, во мне начал зарождаться совершенно незнакомый голос молодого псевдоученого, который говорил какие-то абсурдные, но очень смешные вещи. Я пыталась его подавить, потом угомонить, потом просто задобрить, записывая за ним его перлы... Вот что происходит, когда идешь на поводу у своих литературных героев! Арон остался недоволен. Зато Эрнст Неизвестный был в восторге. Он попросил позвонить ему, и вслед за этим последовало приглашение в его студию, где он дал мне свою графику для книги. Часть ее включена в новую книгу поэм «Об ангелах и людях». А потом, годы спустя, тот же голос, только уже возмужавший, стал требовать, чтобы ему дали докторскую в прогрессивных науках, и я заподозрила в этом нажим американской академической братии, убоялась и предоставила ему свободу слова. Но – как в «Сказке о рыбаке и рыбке» – пуще прежнего он вздурился и потребовал повысить его в звании. Тогда я и отправила его «на соискание попутного ветра», написав третий, последний трактат – «Трактат об исходе».

– Ирина Роднянская написала о ваших «трактатах»: «...Углубленное философское странствие, проделанное поэтом без привлечения собственно философского арсенала, по наитию Евтерпы и Каллиопы — лирической и эпической муз». Да, каких-то прямых ссылок на философские источники в ваших стихах нет. Но обращались ли вы во время написания к какой-либо философской или религиозно-философской литературе?

– Нет, нет и нет. Этот вопрос, кстати, задал мне и Эрнст. Я его (вопроса) очень боялась и чувствовала себя студенткой, не изучившей предмет. Но сказала как есть – не читала. И он вздохнул с облегчением... Мои ангелы даже косвенно не имеют отношения к философии и религии. Они – продукт нелепых тенденций продвинутого общества. В трактатах (в подтексте) разговор идет о нарастающей идеологии, подменяющей религию. К философии как таковой это отношения не имеет. То, о чем писала Ирина Роднянская, относилось к понятийному метауровню, нелинейному, образному движению мысли, а не к обыгрыванию источников.

– В эссе «В отсутствие Моисея» вы пишете: «...Свобода, к которой стремится обыватель, и свобода человека религиозного – разная». А свобода поэта – к какой свободе она ближе? И в чем она, на ваш взгляд?

– Вдруг вспомнился «Аладдин и волшебная лампа». Там джинн именовал себя «раб лампы». По аналогии, поэт, в отличие от стихотворца, раб Слова. Потому что поэт пребывает в энергетическом поле Слова, и близость Творца куда ощутимее. А значит, и ответственность выше, и спроса больше. Свобода поэта по сути своей смыкается со свободой верующего. Поэт не поклоняется идолам в виде идеологии (как схожи эти слова!) разного сорта. Он не жонглирует словами, а если это происходит – тогда все как в «Описании обеда» у Ахмадулиной:

Он знал: коль ложь не бестолкова,
она не осквернит уста,
я знала: за лукавство слова
наказывает немота.

Правда, она писала о литературоведе и поэте, но ее литературовед подходил к поэзии как к стихосложению, а Ахмадулина – как к Словослужению.

– В вашем стихотворении «Отпевание», посвященном смерти Евгения Евтушенко, есть строка: «Тот, Кто пришел душ разобщенность нарушить...» Такая неожиданная отсылка к известной строчке поэта: «О, кто-нибудь, / приди, / нарушь / чужих людей соединенность / и разобщенность / близких душ!». Неожиданная и точная. Но, вообще, не возникает, когда вы пишете в стихах о Боге, ощущение какой-то немоты, чувство недостаточности слова?.. Или же поэзии все доступно?

– О Боге я писать не смею. Присутствие незримо, и все, что возможно передать, – это собственное ощущение Присутствия. Не в словах, а в том, что за ними кроется, очень опосредованно, воздушно и ассоциативно.

– Сергей Чупринин когда-то написал: «К разряду духовной поэзии сейчас могут отнести любые стихи, либо содержащие в себе религиозную эмблематику, либо выстроенные на библейских и евангельских сюжетах и мотивах, либо даже попросту демонстрирующие почтительное (обычно говорят – «молитвенное») отношение автора к православной вере и ее символам». А что такое духовная поэзия для вас? И кто – например, из современных поэтов?

– Знаете, когда-то я была изумлена, поняв, что западная литература вычленила духовность как некий самостоятельный жанрообразующий признак, базирующийся на тех внешних атрибутах, которые перечислил Чупринин. Ведь посмотрите, что сделали: искусственным образом отделили духовную наполненность, дыхание произведения от его тела. Сослали в резервацию произведения, в которых живо Присутствие, и легализовали только те, в которых религиозное можно увидеть невооруженным глазом. Легализовали, в смысле – показали, к какому рынку сбыта относится литература, апеллирующая к библейским ценностям. Если вдуматься, то проделана была целая операция по отлучению читателя от духовных раздумий над текстами не религиозного со-

держания. А как по этой схеме классифицировать Толстого? Или Достоевского? Или Пастернака? Ахмадулину?

– А почему, на ваш взгляд, это произошло?

– Западный мир не хочет такой литературы, в которой светское переплеталось бы с духовным, потому что у глобалистов свой план по перекраиванию сознания. В некоторых американских колледжах «Преступление и наказание» читают под эгидой детективного жанра. Ловко! Но все дело в том, что если бы Достоевский жил сегодня на Западе или в Штатах, то он не сумел бы найти издателя для «Преступления и наказания», потому что в строгие рамки детектива роман бы не уложился. И в рамки духовной литературы не уложился бы. И в рамки никакой жанровой литературы не уложился. Современный писатель в Штатах должен четко знать, в какую нишу его произведение попадает. Иначе оно никогда не будет опубликовано. В результате мы наблюдаем бум книжного рынка и упадок большой литературы. К сожалению, эти тенденции прослеживаются и в России, хоть пока что не в такой степени.

Лично для меня любая большая поэзия или проза духовна по определению. Русская литература на том и стоит. Духовность может быть выражена по-разному, в том числе и невербально. Олеся Николаева, Марина Кудимова, Ефим Бершин... Каждый из них по-своему формирует духовное измерение. Художественный образ несет в себе ауру, по которой распознается духовное начало. Все зависит от тонкости прочтения. Тонкие материи требуют другой пристальности.

– А теперь вопрос, скорее, к вам как литературоведу. В статье «Тайнопись», вышедшей семь лет назад в «Новом мире», вы исследуете христианские мотивы в поэзии Беллы Ахмадулиной начала 80-х годов. А кроме Ахмадулиной – есть ли поэты (или прозаики) советской эпохи, у кого вы находите такую же библейскую тайнопись?

– Не берусь ответить на этот вопрос, так как никого не изучала так досконально, как Ахмадулину. Это очень кропотливая работа, возможная только при условии, когда с глаз спадает пелена. Пока мне кажется, что на таком уровне, как она, ни один из ее современников не мыслил.

– И, наконец, последний вопрос: как живет сегодня русскому поэту в США?

– Помните известную песню про Костю-моряка? «Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика...». Так и я вам не скажу за всех поэтов, США довольно велики. Скажу только «за себя». Один из плюсов Америки в том, что в ней можно оставаться собой. Вот так я и живу – оставаясь собой.

Из поэмы «Свеча»

Это здание свечки-огарка,
Это пепла густого набат,
И подруга моя санитарка,
И домашний ее медсанбат.
Лик впечатан в пол разможенный,
В крест окна и в железобетон.
Это город мой обожженный,
Где на всех не хватило бинтов.
Будет страшно, замедленно сниться
Крик в церковные купола,
Но надежды нет дозвониться –
Отказали колокола.
То молчанье мрачней утраты.
Не звонили они по ком,
Знает двор, безымянные парты
И всё небо над вечным огнем...

* * *

...И легкий жук струится по песку,
Как полый шарик с жесткой оболочкой.
Ряд лежаков – больничною цепочкой
И острый, нагоняющий тоску,
Целебный запах водорослей. Снова
Пришла сюда. И берег не в сезон –
Как мир доисторических времен,
Где никого не посещало Слово,
Где тишиной усилен каждый звук,
И поле зренья занимает жук,
Чье шумное сыпучее старанье,
Должно быть, слышится
На много миль вокруг.

Из поэмы «Разговор по душам»

А бывает ли Тебе иногда грустно,
когда идешь по тучам, смотришь вниз,
а оттуда никто на Тебя не смотрит,
каждый занят своим делом
и если задерет ненадолго голову,
то чтобы проводить самолет или птицу
или проверить, не собирается ли дождь?
Ворона чистит перья на куполе,
книгу Твою листает ветер.
Как Ты со всем этим там справляешься?

«Тонкие материи требуют другой пристальности»

* * *

Пустое время – безразличный ангел,
Прозрачный, узкий, издали похожий
На вазу с очень белыми цветами
Без запаха, как будто бы бумага.
Прищуришься – и можешь наблюдать,
Как мир стоит, немного удлинённый,
На ангела фламинговой ноге.
Похожая на стеклодува туча
Дождь выдувает разной толщины.
Он клейко обволакивает шляпы,
Зонты, плащи. Друг друга опасаясь,
Прохожие идут на расстояньи,
Чтоб от прикосновенья не разбиться.
Мне хорошо в такое время спится.

* * *

Дождь закончился. Настежь окно.
В занавеске запутались капли.
Ослепительно взмыло пятно
К потолку, и подтеки иссякли.
Хлопнул дверью веселый сквозняк
И качнул отражения в раме.
Опрокинулась ваза в слезах,
И огнем полыхнули все грани.
Две промокших пчелы на лету
Сговорились и тихо присели
Просто так — созерцать красоту,
Вне трудов и не ведая цели.

Из поэмы «Реквием по снегу»

... И снится будущее. И все идут
С закрытыми глазами, и море в блестках,
И плавно вздымается его батут
Под ангелами парусников и детьми в матросках.
И ты летишь, и весь мир – вода,
И ничто не шелохнется над сияющей гладью,
И горны ангелов отлиты изо льда,
И музыка сфер неподвластна восприятию,
И матери в белом... А потом, а потом
В казарме вселенной трубят подъем.

Прот. Владимир ЗЕЛИНСКИЙ

Разговор с отцом

(Главы из книги)

От редакции: ВС публикует несколько глав из новой книги богослова, философа и публициста протоиерея Владимира Зелинского, посвященной его отцу, известному советскому критику и литературоведу Корнелию Зелинскому (1896–1970).

Две заповеди

Однажды отец показал мне страницу своего гимназического дневника, куда мой дальний неведомый собрат-поп вписал возмущенное замечание: «Плевался жеваной бумагой на уроке закона Божия». Очень нравилась отцу сия озорная деталь в его послужном списке.

Могло ли ему прийти в голову, что уже после его кончины сын его станет коллегой того законоучителя? И что с ним – законоучителем – стало потом? Всё, к чему тогда прилагалось определение «Божий»: закон, храм, помазанник, в образованном обществе той поры запах имело тухловатый, цвет тусклый, состав окаменевший и должно было вот-вот потонуть в вешних водах истории. Всё «Божие» помещалось за спиной блоковского «болотного попика», кузена кикиморы. Это был безобидный фольклорный персонаж, перевязывающий лапки у лягушек и души старушек и уж менее всего способный отвлечь мальчишек от такого хорошего дела, как посылать из дудочки в ухо соседу комочки жеваной бумаги под назидательные разговоры про творение мира и падение Адама и Евы.

Перечитываю – в четвертый или пятый раз – его автобиографическое эссе «На литературной дороге». И открываю для себя то, что в молодости прошелестело мимо глаз и ушей. словно заглядываю в свой город, которого никогда не видел.

В этой Москве в 1913 году, я, семнадцатилетним гимназистом, стоя на тротуаре в холле, видал торжественный проезд Николая II-го с Александрой Федоровной в коляске, прибывших к древнему престолу своих предков по случаю 300-летия дома Романовых. По этой Москве мчались лихачи «на дутиках», увозя кутящих к «Яру» или на виллу «Черный лебедь» Рябушинского. В этой Москве я любил пасхальные ночи с их песнопениями, звоном

и толпой заказных свечек вокруг церквей. Мы, гимназисты, любили ходить к церкви «Нечаянной Радости», что находилась в Кремлевском саду, внизу у стены против дворца*.

Здесь слышен тон прощания, в котором уже нет притяжения прошлого: было и не вернется. Только где ж теперь эта церковь «Нечаянная радость» в Кремлевском (Александровском?) саду? Меня водили в этот сад все младенчество, потом, учась в Университете на Моховой, прогуливал там занятия, назначал встречи, проходил по ней недавно, специально ища глазами ту церковь, но так ее и не нашел, даже не слышал о ней. Если и была, то снесли. Нелепый вздох, но не могу его удержать: вот если бы ты остался там, с этим звоном, со свечками, в тех пасхальных ночах, которые тогда любил! Та ночь была частицей ликующей юности в компании друзей-гимназистов, жизнь обещала быть долгой и полной, никто не знал, что на них, со всеми их мечтами и пасхальными ночами, уже разинула пасть Великая Проклятая Война, откуда мало из тех, кто стоял у «Нечаянной радости», вернется, а за войной водворится тютчевский «вечный холод», вышедший из пламени революции...

«Я любил», не случайно написал ты, употребив несовершенный вид глагола прошедшего времени. Любил – не полюбил. Здесь не грамматическая, но экзистенциальная разница, та, которую столько раз я пытался втолковать своим итальянским студентам. <...> то, что ты «любил», – осталось там, растворилось в той ночи, разве что окликаемая дальним эхом из памяти. А то, что полюбил однажды, вырастает в нас крепко, пускает корни, и они, какие бы ни мололи нас потом жернова, не только остаются в нас, но и нас определяют. Корни внедряются в глубину, от них поднимаются одна-другая веточка, покрывается листьями, они растут и дальше, приносят свои плоды. Эти «заказные свечки вокруг церквей» (значит храмы были полны и было трудно войти внутрь?), пасхальное «Христос воскрес!» видимых плодов не принесли, не возвестили, что в них, словами Гейне, «смысл философии всей», которой ты тогда, стоя у храма, собирался себя посвятить. Здесь был тот камень, на котором ты мог бы устоять, удержаться в сметающем всё потоке времени.

Икона «Нечаянная радость», та, что находится в Обыденской церкви неподалеку от Кремля, рядом с храмом Христа Спасителя, моя любимейшая. Разбойник, по рассказу св. Димитрия Ростовского, имел обычай молиться перед иконой Богородицы и просить Ее помощи. Однажды икона оживает, и Она показывает ему пронзенные руки и ноги Сына-Младенца, Которого умоляет о прощении. Сын не хочет простить, но Мать умоляет, Он прощает, и грешник, в ответ на прощение, раскаивается. Икона – весть, имеющий уши слышать да слышит, знающий буквы да прочитает, но для того надо воспитать слух сердца, научить разум грамоте тайны. Разумеется, для тебя, рационалиста, мечтателя, чувственно жадного к жизни (три человеческих свойства, препятствующих Богу войти в наше «я»), это был лишь фольклор весенней ночи, сцена из народного средневековья. Постояв с друзьями, ты пешком возвращался в уютный московский дом, где твои родители, мои дедушка и бабушка, Царство им Небесное, вероятно, снисходительно улыбались, слыша сбивчивый рассказ про звон да пасхальные свечи... Церковь давно ушла из интеллигентных до-

* Зелинский К.Л. На литературной дороге (Автобиографическая повесть) // Зелинский К.Л. На литературной дороге: Сб. ст. – М.: Академия-XXI, 2014.

мов, а уж из умов московских гимназистов и подавно. Мог ли ты догадаться тогда, что судьба России и твоя уже решилась, в том числе и в этом отказе несовершенного вида в твоём сердце перейти в совершенный, окончательный?

«Что же из моего детства, прошедшего в сравнительно обеспеченной, но трудовой интеллигентной семье, пошло в закладку на будущее? – продолжаю читать. – Вижу, пригодилось многое. Не буржуазное, не чуждое новому коммунистическому миру: романтика знаний, любви к труду, чувство человеческого достоинства, чувство справедливости, добра, красоты. Воспитанием этих начал, действие которых я постоянно ощущал, я обязан отцу и матери, которые всегда стремились развить во мне эти начала»^{*}.

Дата: 1963 год. Кто помнит то время, изо всех сил старавшееся вернуть себе шипучую романтику молодости? Оно было туго накачено пропагандой, которая шла в лобовую атаку, сбивала с ног, как майский ливень. Будущее, слегка почистив перышки на XX и XXII съездах (что за наказание измерять историю России съездами?), казалось, уже приблизилось вплотную. Оно сделало какое-то символическое усилие в сторону как бы покаяния, а то, в чем покаяться не могло, не разметав почву под своими ногами, замело в темный угол и сверху забросало хламом.

«Чувство добра, красоты, человеческого достоинства»... Ну разве не знал ты, что сии слова-погремушки служили елочными украшениями, тогда как на вратах реального мира для них специально было написано «посторонним вход воспрещен»? В том-то и была суть режима, что в словаре его хранились и уважались те слова, которые в жизни приобретали смысл часто противоположный. Знал ли ты, что «человеческое достоинство» как раз и означало «оставь надежду всяк сюда входящий»? Не только знал, но, увы, не раз доказал словом, делом и помышлением, что это все – завеса для чего-то иного, чужого, бесчеловечного. Но здесь говорю себе: сойди прежде всего сам с тропы войны, попробуй не уклониться с пути двух заповедей: Моисеевой – «почитать отца своего» и Христовой – «не судить», не изменяя в то же время и правде Божией, для меня очевидной, ибо ради нее и пишу. Очень непросто. Моя правда отталкивает ту, которой волей или неволей был оплетен отец, не выносит ее с юности, но понять его можно только в эпохе, куда он, как говорили экзистенциалисты, оказался заброшен.

Понимаю, что и сам я в немалой мере определен этим противостоянием, затянут в него, возможно, внутренне связан. Оно уже отстранено от поколения моих детей, а уж внукам, верно, покажется войной Алой и Белой Роз, в которой «подросток былых времен» (по повести Ф. Мориака) все еще вдохновлен пафосом Белой. Но вся наша история последних ста лет состоит из судорог отрицаний. Вся жизнь России – и в этом ее беда – за последнее столетие словно определена спазмами отталкиваний от того периода истории, который предшествовал настоящему. Каждый новый ее этап надевал на себя маску первого царствующего лица, заслоняя людей, отодвигая собой остальное. Весь 70-летний с чем-то путь коммунистического режима – это история единого мировоззрения, т.е. мифа, который жил своей жизнью. Видоизменяясь, отталкиваясь от прошлого, извиваясь в спазмах, он сохранял свою идентичность. Но при этом каждое новое лицо-правление поворачи-

^{*} Там же. С. 17.

вало мировоззрение в свою сторону, заполняя им время, в котором жили люди, испытавшие эти метаморфозы внутри себя. Миф не иссяк и сегодня, корешки его так просто не вырвешь. Но он поменял лицо.

Время Корнелия Зелинского завершилось на пороге 70-х, и «мировоззрение Октября» было основным сюжетом в его писательской жизни. Когда оно стало увядать, деревенеть, ссыхаться, то постаралось распахнуть пошире форточку будущего, чтобы одолжить у него немного свежего воздуха. Я чувствовал тогда, что воздуха уже не хватало и отцу, и всему государствообразующему мифу, и потому его стали искать в героизации прошлого. Началось крушение кумиров, тогда еще не очень заметное; старея, они всеми силами пытались вернуть себе мускулистость и бодрость. Идеология этих лет воспроизводила портрет, скорее, автопортрет утопии в юности, ищущей первую любовь свою, которая казалась вновь обретенной.

В молодые годы отца мой дед, Люциан Теофилович, умерший за год до моего рождения, служил инженером в Управлении Кронштадтской крепости. Отец, окончив Московский университет в 1918 году (Университет, как ни странно, работал), переезжает в нему.

Парадокс о критике

В 1959 году, после долгого перерыва, у отца вышла первая авторская книга *На рубеже двух эпох*, в жанре литературоведческих мемуаров. На развороте подаренного мне экземпляра наклеена наша фотография, сидящих на лавке у дачи, с надписью «Моему дорогому сыну Володе с надеждой, что ты продолжишь мой путь в литературе, и с любовью. Автор. 27 сентября 1959 года». В эти дни мне исполнилось семнадцать лет.

Это галерея литературных портретов, воспоминаний о друзьях, спутниках его молодости, гимнопевцах эпохи, которая несла великие надежды. В то время надежды уже стали памятниками истории; «не говори с тоской: их нет, но с благодарностью: были» (Жуковский). Эта интонация благодарности и прощания явно слышится в отцовских мемуарах. Благодарности революции как последнему убежищу идентичности советского человека. Туда, в манящие дали прошлого, стали в то время бежать от настоящего, которое по расписанию уже должно было переходить в будущее, а оно все не переходило. И чем дольше длилось это ненаступавшее будущее, тем больше нагнетался веселящий газ октябрьского тумана, тем многочисленнее становилась когорта собирателей его в стихи и прозу, разливателей его по сосудам культуры, наполнителей им душ и умов. Он не был уж столь веселящим во времена молодости отца, но стал таким к концу 50-х годов. Для меня эта книга, «На рубеже двух эпох», выглядит как бы гаванью, где отец хотел бы пришвартовать свой издавший виды корабль. Или музеем его молодых лет. Не могу сказать, что визит туда не доставляет литературного удовольствия. Читаю «На рубеже...», и мне кажется, что я исполняю отцовское пожелание продолжить его путь в литературе, хотя, возможно, и не так, как бы ему хотелось. Подводя итог тому, что им было сделано, стараясь не вызывать его на суд. Может быть, и плохо получается, согласен. Но как оторвать время от человека, а человека от его книг?

Литературные встречи 1917–1920 годов. Блок, Брюсов, Есенин, Маяковский, поэты пролеткульта, иронический портрет Андрея Белого, сочувственный, но слегка насмешливый, Хлебникова. Их всех, кроме разве Хлебникова, отец знал лично. (В последний год жизни отца я пытался объяснить ему, что если существует в поэзии пример «чистой», т.е. не разбавленной культурной средой, традицией, цензурой разума, гениальности, то это именно Хлебников. Отец почти соглашался.) Вижу почтительные портреты Гастева, Кириллова, Герасимова, Александровского, Полетаева, Казина, Демьяна. Полуграфоманов от ликования, будем называть вещи своими именами. Литература тогда, по выражению отца, повернула от мировой скорби к мировому восторгу. Нигде не поминаются даты и причины смерти многих из героев книги; даже осторожный термин «незаконные репрессии» еще не вошел в обиход. Ни слова ни о самоубийствах, ни о блоковском отсутствии воздуха. Но:

«Я утверждаю, – пишет отец, – со всем внутренним чувством убежденности, добытой преодолением своих заблуждений, что Октябрь и Ленин спасли русскую литературу, освободив всех нас, и старшее, и более позднее поколение интеллигенции, от тяжелых “накладных расходов” на пути к истине, неизбежных в капиталистическом обществе»*.

Я же чувствую здесь интонацию надлома, даже заклинания будущего. Режим стал сохнуть, терять соки, будущее меркнуть, и тогда настало время спасения святынь. Та мечта, которой принесли себя в дар Маяковский и целое поколение одаренных и не очень одаренных поэтов, стала давящим комом истории, который будут нехотя еще пережевывать в школе. Мечта о прошлом, сливающимся с будущим, сделалась той самой материей, из которой изготавливалось новое платье короля. Увы, других мест работы, кроме как на фабрике изготовления новых платьев, для критика не было.

Про него говорят: Корнелий Зелинский – не только официальный, но и, можно сказать, официозный критик. Так ли? Официозным считался и был В. Ермилов**, и вслед за ним можно насчитать столько других. Читаю, критически и со вниманием перечитываю отцовские тексты, многие впервые, и вижу, что отец, когда мог, как раз стремился, не знаю, сознательно или нет, избежать этой роли. Он хотел скорее быть раскованным свидетелем времени, почти Монтенем, которого так любил перечитывать, рассуждающим о делах мира со своей башни. Или Сомерсетом Моэмом, неторопливо подводившим итоги насыщенной жизни. Или Норбертом Винером, внедряющим кибернетику в науку о литературе. Об этом говорят его поздние большие статьи «Парадокс о критике», «Литература и человек будущего», «Камо грядеши? О назначении поэзии», «О кибернетике (с точки зрения литературоведа)». Критик здесь хочет как раз уйти от критики, он хочет быть вольным мыслителем, осмысливающим время в себе, пользуясь теми знаниями и возможностями, которые были в его распоряжении, при этом постоянно себе напоминая, что его башня и кибернетика стоят на советской земле. Его мысль, вполне живая, все же относительно раскованная, не могла не нести на себе следов господствующе-

* Зелинский К.Л. На рубеже двух эпох: литературные встречи 1917–1920. – М.: Сов. писатель, 1962. С. 304.

** Владимир Ермилов (1904–1965) – литературовед, критик, главный редактор «Литературной газеты» (1946–1950). (Прим. ВС.)

го идеологического дискурса: он был с ним почти на равных в 20-е годы, он добровольно сдался ему в 30-е, а в 50–60-х он стал как бы необходимой рамкой для всякого литературного или философского словесного акта. Что эта рамка когда-нибудь развалится под напором следующего поколения освободившегося слова, отец, конечно, не знал. Да и никто не знал, миф не предусматривал своей кончины. Но, может быть, догадывался.

О «Парадоксе...», самом свободном, наверное, эссе поздних уже лет – особо. Зимой 1959 года соседи-писатели собираются в доме отца, усаживаются у телевизора, потом переключаются на разговор. Мне кажется, что отдаленно я даже сохранил в памяти этот вечер. Комната освещается лишь экраном, который собирает у себя жен писателей, чьи мужья беседуют в кабинете хозяина дома. Отец признается, что находит свою профессию бесполезной. *«Где-то ошибся я, неправильно выбрав себе точку опоры в жизни...» «Живет во мне неумолкающее чувство, что не все я сделал в жизни, мог бы сделать гораздо больше...» «Да и утомило это состояние второсортности в литературе».* Но это один голос. Затем вступает другой, говорящий от имени того, чего нет, но могло бы быть: *«Критик должен быть и мыслителем, и философом, и политиком, и поэтом одновременно... Я верю статьям того критика, за которым стоит он, как человек».* За первым сожалением – перед отцом в юности лежало много дорог, – даже и нотой покаяния, слышится явно вздох, замолчанный возглас: дайте быть человеком в своем деле. Человеком, который был бы способен вместить в себя мыслителя, философа, поэта, даже и политика не когда-нибудь, а здесь и сейчас. «Парадокс...» подразумевает: всё это в нем было, может быть, еще есть. Да, еще есть. И хочет о себе заявить.

Здесь и подсказка: критику лучше не ставить себя в наставники, разговаривать с читателем нужно не с высоты трактата, но вводить его в простор общения, в котором и сам читатель мог бы подключиться к разговору. То есть войти в него в качестве собеседника, сомыслителя, сопозта. В отличие от прозаика, который, создавая отстраненную от себя картину, обращается к читательской способности воображения, критик вкладывает в свой текст свою мысль, выносит себя на свет, но не как нечто объективное, отвлеченное, отстраненное. Он, по слову Анатоля Франса, приглашает читателя разделить приключения своей души, вошедшей в общение с великими произведениями искусства. Включить читателя в число собеседников, дать ему место среди спорящих. В этом парадокс «Парадокса...»: в критике не нужно учительствовать, главное – предоставить возможность выбора разных позиций, внести себя в мир читательской души, не сгибая ее своей логикой и точкой зрения, но давая в ней распрямиться, еще раз найти себя. Это удалось. «Парадокс...» дышит, как ни странно, свободой и примирением, а глубина, тональность его – в твоей грусти, отец. А литературно – совсем недалеко от уровня Герцена, к которому ты всю жизнь с завистливой печалью присматривался. Валентин Яковлевич Курбатов*, с которым мы много лет дружим и переписываемся, как-то сказал мне, что именно «Парадокс о критике» повернул его к той самой профессии, которая как раз «Парадоксом...» была поставлена под вопрос. И любимая отцовская цитата как дальний фон: «И с отвращением читая жизнь мою, я трепещу и

* Советский и российский критик; живет в Новгороде. (Прим. ВС.)

проклинаю...». При забытом Евангелии помощь мог оказать и Пушкин с посланием, вполне покаянным.

В других литературных опытах того же периода, которые и сегодня могут быть вполне читаемы, отец, словно по следам конструктивистской страсти своей молодости, обращается к роли и смыслу техники. В то время научная фантастика входила в читательский быт, мысль, которая словно допрашивала себя о своих неизведанных возможностях, будоражила целое поколение. Даже о. Александр Мень, великий пастырь, миссионер, прочитавший не одну толщу книг о прошлом, удивил меня однажды признанием, что любимое его чтение – фантастика. Помню даже полочку со всеми перечитанными романами над его изголовьем. Тогда техника расстилала манящие горизонты будущего, только не так, как сегодня, когда его горизонты приблизились и фантазии начали сбываться. Во всех этих проекциях отца прежде всего интересует их человеческое измерение. Он предрекает – что уже тогда было очевидно – громадный рост информации, предвидя и угрозу глобализации.

Это будет связано с изменением всех форм общественного быта, питания, связи, широкого введения радиоэлектронной аппаратуры, которая в будущем сможет дать возможность людям, оставаясь на месте, видеть, слышать и узнавать любого человека в любой точке земного шара и любую картину жизни во всех концах земли. Кроме того, сам человек получит возможность «по прихоти своей скитаться здесь и там, дивясь божественным природы красотам» (Пушкин)*.

Однако в этих строках есть и скрытый мотив страха перед господством механического начала, автор предвидит и возможность электронного мозга, ставит вопрос о границах человека, ставший столь актуальным для нас, но завершает все в духе оптимистической, идеологической проекции, из которой тогда он не мог вырваться. При этом он часто любил повторять зловещую остроту, то ли где-то вычитанную, то ли собственного изобретения, о том, что человечество есть форма звездообразования. *Homo sapiens* в своем развитии приходит к открытию термоядерной энергии, которую со всей мощью обрушивает на территорию своего врага, тот не остается в долгу, планета перегревается, взрывается, превращаясь в раскаленную звезду. В те годы неистового строительства коммунизма и пережитого всеми Карибского кризиса такие шутки становились актуальны.

Читаю, спорю, улыбаюсь, слышу живой голос автора и ловлю себя на том, что мне легко и вольно это читать. В тоне отца звучит его дружеское напутствие. Это сочные, совсем не высохшие от времени тексты, они – в духе «Парадокса...» – обращены к читателю-собеседнику. Да, конечно, то и дело попадают словесные заклинания из той религии в виде будущего, которая имела свой обязательный ритуал. Доживи он до перестройки, до конца 80-х, отец мог бы без труда и ущерба выбросить все поклоны «социалистической революции» и «строительству коммунизма», ни звука нужного, ни единой мысли при этом не потеряв. Когда брат собирал для издания отцовские сочинения, сначала первую книгу, затем вторую, мы

* Зелинский К.Л. Литература и человек будущего // Зелинский К.Л. На литературной дороге... С. 488.

с ним даже слегка поспорили; я говорил: не будем смешить людей, давай произведем небольшой косметический ремонт в доме, выкинем весь мусор, эти тексты, вполне добротные по фактуре, но практически приговоренные всего лишь несколькими уродливо висящими амулетами, без которых можно вполне обойтись. Предлагая такую авантюру, я и сам сознавал, что это совершенно невозможно. И не потому лишь, что «из песни слов не выкинешь». Дело было не только в этих вкраплениях дурашного, душного, но в то время всеильного языка, а в том, что сама мысль Корнелия Зелинского была включена в ту эсхатологическую сказку, которую и можно было назвать волшебной, если бы она столь грубо и тупо не навязывалась во всякое время суток. А когда легенда становится всеобщей повинностью, она больше не сказка, но цепь.

Теперь, перечитывая его старые статьи о Дос Пассосе, Ромене Ролане, Гамсуне, Жюле Ромене, Шагинян, перешагивая через завалы ритуальных фраз, я выхожу навстречу человеку, отлично владеющему стилем, умением построить ладное, крепкое жилище из имевшегося подручного материала. Стиль то и дело вступал в противоречие со смыслом готовых идеологических брикетов. Литературное жилище было вполне обитаемым, изящной конструкции, но дежурный «строитель нового мира», поселившийся в нем, был тяжел, медвежатен; чувствовалось, что оно произвольно строилось для другого жильца.

Вот статья под невыразительным названием «Между строк» из «Критических писем» 1934 года, никогда прежде мной не читанная. И, читая, удивляюсь. Статья о разнице между рассказом хорошим и слабым.

«Рассказ, – говорил мой друг, – настоящий хороший рассказ и только он, способен в литературе вызвать в вас чувство своеобразного эстетического голода. Именно рассказ вызывает в вас щекотание художественного строительства, как вид приготовленной глины заставляет приливать кровь к кончикам пальца скульптора. Один Грин у нас понимал это»^{*}.

Статья о Грине. Его мастерство отец объясняет касанием тютчевской паутины, светящейся на солнце.

Если искать названия для душевных состояний читателя, то плодотворная задумчивость будет именно тем настроением, которое создают у нас рассказы Грина. Чем действуют они на нас? Ни сюжет, ни интрига, ни фокусная композиция в духе О. Генри, ничего внешне грубого и ощутимого, лишь «паутинка» стиливых усилий, летающая между строк, паутины грамматических связей**.

Паутинка служит изящным ключиком к композиции рассказа. Ничуть не хуже «ниточки укропа (не надо снимать)», ставшей смотровым окошечком в розановский стиль и быт. И все дальнейшее тоже отмечено тем же неуловимым касанием. Сплести из паутины концепцию ведь непросто, надо иметь обученные пальцы. Но у Корнелия Зелинского сплетается довольно изящно. И вдруг врывается нечто грубое, внешнее: «Это будет искусством социалистического реализма, пролетар-

^{*} Зелинский К. Между строк // Зелинский К. Критические письма. Кн. 2. – М.: Сов. литература, 1934. С. 218.

^{**} Там же. С. 220.

ским искусством, если идеи, лежащие в глубине его, – наши идеи...». Словно сапогом по паутинке. По ниточке укропа тоже. И так сначала и до конца.

60-е годы были для моего отца временем второго – после конструктивистской молодости – подъема и невидимого, точившего его кризиса. Он написал свои наиболее важные работы, которые, за вычетом «светлых будущих», вполне могли бы войти в «искусство мыслить о литературе». Но мыслить тогда было предписано от имени некой условной фигуры, спроектированной в пустоту. Какие тут могли быть «приключения души»? Душа в то время была коллективной, вложенной в 150 или 300 миллионов строителей коммунизма с приключениями и помышлениями, выстроенными по одному типу. И эта глыба-душа нависала над той личностью, которая таилась в каждом человеке, порождая в нем муку двоемыслия-двоечувствия. Но личность бунтовала, уходила от коллективной души к себе, словно от того «черного человека», пытаясь избавиться от которого поэт разбивает свое изображение в зеркале.

Есениным отец занимался много и самоотверженно с конца 50-х годов. Именно он в 50-е годы вывел его из полуподпольности в общепризнанные классики, чего давно уж требовал *vox populi*. В 1961 году под редакцией Корнелия Зелинского и с его большой вступительной статьей вышло пятитомное собрание сочинений Есенина тиражом в полмиллиона экземпляров, и его было невозможно достать. А в 1965 году 70-летие поэта отмечалось торжественно и державно; большая писательская делегация, куда входил и отец, ездил в Рязань и в родное есенинское село Константиново, он взял туда и меня. Константиново не оставило особого впечатления, есенинские пейзажи ярче в стихах. Сюжет предисловия – не забудем, отец вытаскивал Есенина из застоявшегося с 30-х годов почти небытия и писал для пятитомника 1961 года издания, – конечно, вращается вокруг Октября: мол, принял, но, несмотря на весь свой необыкновенный дар, до самой высокой октябрьской высоты все же не поднялся. О поэтической необыкновенности он написал то, что стало потом общим местом, но в ту эпоху отец был как бы его первооткрывателем. Упрек поэту – не сразу сбросил с себя кондовое, деревенское, религиозное; но критик оправдывает все это зачарованностью первозданной тайной мира.

Между сосен, между елок,
Меж берез кудрявых бус,
Под венком, в кольце иголок,
Мне мерещится Исус.

Стихи эти – ранние, совсем еще не великие, по тону кажется, что их словно написал Алеша Карамазов. Вскоре, разбогатев талантом и славой, набрав мастерства, поэт станет скорее Дмитрием, напрочь разругается с Богом, выплюнет причастие и проживет жизнь с карамазовским неистовством, метанием и размахом. Вспомним, как Достоевский предвидел судьбу Алеши; искусившись миром, преодолев карамазовщину, тот в конце концов должен будет вернуться к родному церковному очагу. Подобное возвращение было, наверное, вписано и в судьбу Есенина, но ему не дано было ее прожить. И все же в этой жизни, в этой поэзии была своя религиозная загадка, ключи к которой нельзя отыскать ни в чистом стиховедении

нии, ни в обществоведении, забирающемся в душу поэта. «Я поверил от рожденья в Богородицын покров...»^{*} – такая младенческая инстинктивная вера должна была вернуться, пройдя сквозь нелегкий опыт апостазии^{**}; через него мог провести его сам талант. Потому что великий талант зряч, он обладает собственным зрением, нащупывает свою дорогу, часто совсем не ту, по которой ведут его разум, страсть или общественный строй. Проблуждав, поэт дошел бы и до Богородицына покрова, который его ждал, принял и все бы простил. Так ясно видишь, что в мощи его стихов, за спиной ее, Бог с чертом борется, «Исус между елок» со всеми загулами и богохульствами, но Бог все же сильнее. Вне драмы религиозного борения и смятения, которая совершалась в Есенине (еще сильнее в Блоке), нельзя до конца разгадать его поэзию, потому что поэзия, как сказал Корнелий Зелинский в другом, печально известном тексте, «не умеет лгать».

Отец, думаю, пришел к Есенину через близкую ему чувственную любовь к жизни, которая через другого хотела себя осмыслить и выразить. В нем самом и в помине не было никакой есенинщины, но он любил карамазовские «клеякие зеленые листочки», любил «все, что в душу претворяет плоть» (Есенин), любил плоть «и вкус ее и цвет» (Блок). К его вкрадчивому мягкому обаянию женщины были гораздо восприимчивей мужчин, которых оно скорее раздражало. Впрочем, не все женщины. В «Записках о Анне Ахматовой» Анатолия Наймана встречаю такой эпизод:

Однажды она была в Переделкине и встретила на улице с критиком Зелинским, который попросил ее на минуту свернуть к его даче посмотреть на сына. «К калитке подошла молодая женщина с годовалым ангелом на руках: голубые глаза, золотые кудри и все прочее. Через двадцать лет, на улице в Ташкенте, Зелинский попросил на минуту свернуть к его дому посмотреть на сына. Было неудобно напоминать, что я с ним уже знакома. К калитке подошла молодая женщина с годовалым ангелом на руках: голубые глаза, золотые кудри. И женщина, и ангел были новые, но все вместе походило на дурной сон»^{***}.

Позволю себе заметить, что ангелы здесь перепутаны; переделкинский ангел, Саша, «голубые глаза, золотые кудри», на семь лет моложе ташкентского, меня, у кого никогда не было ни голубых глаз, ни кудрей. Был, правда, еще третий, по хронологии первый, ленинградский ангел Кай, но его в середине 20-х годов Анна Андреевна едва ли могла видеть. Но стиль общения, должен признать, очень отцовский. И мне тепло от мысли, что когда-то в качестве ангела мне довелось попасть в ахматовский взгляд. А в Ташкенте отцу удалось пробить и выпустить сборник Ахматовой и спасти ее в то время от нищеты.

«Женского сюжета» в его жизни, весьма богатого, касаться здесь не буду, дабы не уподобиться второму сыну Ноеву. Но помню, как неожиданно, в 1963 году, уже после развода с третьей женой, после кризиса или по следам его, отец нередко повторял, что хотел бы вернуться к первой жене Кине^{****}, в то время выглядевшей уже

^{*} Так озаглавил книгу один из московских священников, ныне уже покойный о. Вячеслав Винников.

^{**} *Апостазия* (греч. *ἀποστασία*) – отступничество от своей веры, ересь. (Прим. ВС.)

^{***} Найман А. Рассказы о Анне Ахматовой. (URL: <http://ahmatova.niv.ru/ahmatova/vospominaniya/najman-rasskazy/stranica-7.htm>).

^{****} Евдокия Рафинская, первая жена К.Л. Зелинского (в 1919–1926 гг.), в браке с которой родился сын Кай (1924–1964). (Прим. ВС.)

вполне старушкой, и сыну Каю, в то время умиравшему. Каю и Кине он посвятил последнюю свою книгу статей «В изменяющемся мире», вышедшую в 1969 году. Проживи он еще лет пять-семь, кто знает... «Бог и намерения целует», как говорит пасхальное слово св. Иоанна Златоуста.

Уже написав это, я получил от брата несколько отрывков из отцовских писем. Вот один из них, от марта 1968 года.

Самой моей большой ошибкой было то, что я в 1927 году оставил Кину, с маленьким Каем на руках. Повторяю – это была самая моя большая ошибка в жизни, которая повлекла за собою и все другое. Правда, я стал писателем, доктором филологических наук, профессором и т.п. У меня много чинов. Но счастья в своей личной жизни я уже не знал. Я часто вспоминаю Кину и Кая, и, если бы жива была Кина, я, вероятно, снова на 73-м году жизни предложил бы ей руку и сердце. Она была необыкновенно порядочным человеком и любила меня по-настоящему.

Года два тому назад я был в Ленинграде. Был на могиле Кины и Кая. Это было поздней осенью. День был довольно холодный. Тучи брели по небу. Я постоял возле могилы, где лежат рядом и Кай и Кина, и думал о том, что здесь похоронены люди, которых я любил, которые любили меня, и что, может быть, напрасно я еще продолжаю жить.

«Лесное братство»

Начало жизни обладает своим притяжением, это непреложный закон. Но свое начало я смещаю на несколько лет, потому что никакой сладости в младенчестве, тесно упакованном в пятидневки детского сада или двухмесячные пионерлагерные смены, не испытываю и меда там не собираю. И все же одни вещи в нашей жизни, особенно к концу ее, заряжаются большим душевным магнетизмом, другие менее; мы выделяем их по плотности воспоминаний, которыми они наделены.

Помнить изначально означает благодарить, хотя болевые точки чаще задерживаются в памяти. И все же существование само по себе несет в себе спонтанное, скрытое благодарение за посылаемый тебе каждую минуту – воспользуюсь отцовским словом – «квант» существования. «*За все благодарите*»; эта строка апостола Павла когда-то привилась ко мне и пустила корни. Благодарение прорастает сквозь вещи и события, образуя с ними особую связь, наполненную жизненными соками. Они ударяют в меня всякий раз, когда я возвращаюсь в н а ш лес.

Это происходит не только там, где он стоял и ныне стоит, но почти в любом перелеске, который окатывает меня плотной волной оставшейся позади жизни. Не только под Москвой или в дальних лесных местах России, но и повсюду, например, в Польше, в Америке, особенно в Норвегии, где был лишь раз, и даже на севере Италии, если удастся забраться повыше в горы. Мы стараемся оживотворить природу, и тогда, когда вносим в нее себя, как и тогда, когда сами получаем от нее позывные. Есть «церковь невидимая, хранимая в душе человеческой», говорит Мих. Пришвин, та, где за деревьями мелькнет след есенинского «Исуса». Потому что у каждой твари есть свое «я», обращенное к Творцу, но и говорящее с нами, в том числе и у деревьев, у лужаек, кустов, паутинок. Я узнал об этом задолго до того, как прочел «диалоги» с миром природы Заболоцкого или гениальный

«Куст» Марины Цветаевой, или почувствовал, что и к дереву можно обращаться на «ты»^{*}.

Лес всегда звучит. Его голос хорошо слышал Тютчев. Казалось бы, ничего не шелохнется, не слышно ни птиц, ни жуков, ни шевеления трав, но есть сплошной непонятный гул, собирающий в себе их голоса. «Откуда он, сей гул непостижимый»? «В начале Бог сотворил небо и землю». Это начало окликает нас из всякого творения Божия.

Как только сходишь с электрички, по дороге к дому отца пересекаешь березовую поляну, в летние дни ее пришвинскими словами можно назвать «кладовой солнца». Здесь деревья, стоящие поодаль друг от друга, словно собирают собой свет на поляне, играя в него, и свет на траве кажется отдельным существом. Тропинка ведет тебя в густой осинник, я помню эти осинки совсем юными, потом они разрослись, но остались густорастущими, образуя как бы сплошной шатер, белый зимой, зеленый летом, там можно было спрятаться, чтобы никто не видел. Осинник никогда не отказывал в своем гостеприимстве. В конце 50-х там была построена водонапорная башня, от нее начиналась наша улица Довженко. Лет сорок башня нелепо и безобразно высилась, и это была единственная роль в ее башенной судьбе, ибо она никогда не наполнялась водой; потом, в начале 2000-х, башню наконец снесли. Я провел там наверху, поднимаясь по пожарной лесенке, много часов, писал глупые стихи и еще более глупые письма, даже пару раз ночевал на колючей стекловате, когда, возвращаясь из Москвы последним поездом, стеснялся стучать ночью в отцовскую дверь. Все же дом был и мой и не мой.

Улица была застроена писательскими коттеджами, дача отца была под номером 6. Потом, если пересечь участок, открыть калитку, переходишь – как в «неслышанную веру», словами Пастернака – в лесное исповедание елок, берез, лип, кленов, – которая возвращает тебя к самому себе. За забором отцовской дачи когда-то очень давно было небольшое болотце, зимой оно замерзло, и я даже подростком катался там на коньках. Летом высыхало, пока не высохло окончательно. Сейчас там – да уж лет двадцать пять как стоит теннисный корт.

Дальше влево, метров через тридцать, начинается та главная просека, от которой расходятся другие. Она ведет параллельно улице Лермонтова до самого Переделкина, где лес кончается, а за лесом пруд, который возник после того, как когда-то, еще до меня, перегородили речку Сетунь и построили мост. Просека словно расступается и приглашает следовать по ней. Ее начало летом образует чашу из травы, листвы, окружающих ее деревьев вместе с открывающимся просветом над ними. «Душа под сводом их благословенным» (Ахматова) находила когда-то нечто незаметное и преходящее, то, что называется родиной и обладает своим голосом, своим зовом, своим текстом, внятными только мне.

«Если человек не подчинился ладу зова, исходящего от дороги, он напрасно щитится наладить порядок на земном шаре», – говорит Хайдеггер. Я следую по просеке дальше, от нее отходят дорожки в обе стороны, и вспоминаю их язык, который когда-то выучил. Здесь, конечно, не только прошлое, но и ожидание, более того, обещание, которое слышу, но все еще не могу прочесть. Каждая из этих троп

^{*} См.: Бубер М. Я и Ты // Бубер М. Два образа веры. – М.: Республика, 1995.

имеет свою биографию, которую я вовсе не хочу сводить только к своей. Если идти далеко налево от просеки, можно набрести на бывшие когда-то в другой жизни грибные места. Грибы давно все собрали, но если продолжать искать их, идя все дальше и дальше, то в конце концов мы упремся в забор какой-то военной части, она была в 1955 году, когда я дошел до нее впервые, и сохранилась и через шестьдесят лет, когда мы с другом дошли до нее еще раз.

Но здесь я прерываю себя, уступив слово отцу:

За забором сада сразу начинался лес. Под березами и елями таинственно присели глубокие сизые тени. И хотя я знал каждое дерево в этом лесу, так как часто хаживал летом в разные часы дня и вечера по его тропинкам, но сейчас этот знакомый лес казался мне наполненным своей новой, еще неведомой жизнью. Каждая обезлиственная ветка, изгибаясь и вырисовываясь своим узором, словно таила в себе нечто, что деревьям хотелось мне рассказать. Я угадывал по легкому качанию верхушек, что там, за окном, бежит по белым полянкам свободный, как свист, ветерок. Но все же главным была печать безмолвия или, лучше сказать, того немого ожидания, которое природа может внушить человеку. Ведь она всегда, ожидая от нас чего-то, тем самым и зовет нас куда-то*.

Прежний лес теперь умирает на глазах. Возвращаюсь туда каждый год и ухожу даже не разочарованным, раненым. Во времена моей молодости и дальше, когда там жили скромные, хотя и элитные писательские люди, лес был в полном порядке, с аккуратными просеками, ухоженными деревьями. Сейчас все заросло, как-то некрасиво заросло, все словно и так, как было, и совсем все не так. Сейчас здесь живут богатые, всерьез богатые, но лес рядом с ними погибает. Словно мстит за отсутствие любви к нему. Погибает лес не только потому, что от него отрезают куски для новых престижных поместий, но и потому что у леса больше нет хозяина. Кто-то его покинул, разлюбил, словно отправил в старческий дом доживать. Нельзя входить в одну реку всю жизнь. Минули десятки лет.

Помню, отец иной раз, отложив свой писательский день, которым всегда дорожил («меня строчка кормит», как он любил говорить), отправлялся гулять туда на много часов. По ту сторону железной дороги между Мичуринцем и Внуково был другой лес, обширнее, и туда в 60-е годы почти ежедневно и в любую погоду приезжали старики-пенсионеры. Они бродили там много часов, как-то произвольно сложившись в странную общину любителей одиноких лесных прогулок, которую, по слову Гамсуна, я бы назвал обществом «странников, играющих под сурдинку». Для них были даже построены деревянные столы, за которыми иногда они бедно и наскоро обедали едой из авосек и пакетов и к вечеру возвращались в Москву. Общались они между собой знаками-зарубками, которые оставляли на деревьях в каких-то отмеченных ими местах, так перекликаясь друг с другом. Но проводили время в лесу, как правило, одни. Отец узнавал их по зарубкам, хотя встречал редко, именуя их «лесными братьями» по имени повстанцев, которые в послевоенное время вели безнадежную борьбу за независимость Литвы. Эту жизнь в лесу – по названию любимой нами обоими книги Генри Д. Торб, – он считал лучшим способом завершения жизни и даже мечтал однажды вписаться в

* Зелинский К.Л. Парадокс о критике // Зелинский К.Л. На литературной дороге... С. 421.

«лесное братство», примеривал его в последние годы к себе, но притяжение письменного стола было сильнее.

Между лесом и домом был кусок земли и в нем импровизированный сад, небольшой, но уютный, им занималась моя мачеха, третья жена отца, Екатерина Владимировна. Недавно она отметила свое столетие в сравнительно добром здравии и в сравнительно ясном уме. Она заведовала садом, замечательно разводила обязательный набор подмосковных ягод: клубники, малины, крыжовника, черной, красной и белой смородины. Мачехой она была вполне вежливой и гостеприимной, ни скандалов, ни трений у нас не было никогда, однако пойти просто так в сад и что-то нарвать, когда хочется, было против правил, а правила были ее; ягоды можно было есть только упорядоченно собранными в тарелку, помытыми, поданными на стол, разделенными на порции. Этим пионерлагерным словом, кажется, уже вышедшим из употребления, обозначалась положенная каждому доля еды. Мне же в 13-14 лет одной тарелочной порции всегда было мало. В моем материнском доме такие ягоды были редким предметом излишества, строго измеряемого, за которым специально надо было пойти на рынок, а рынок был далек и дороговат.

В начале «Исповеди» бл. Августин рассказывает, как он с приятелями подростком забрался на грушевое дерево, чтобы наворовать груш. Рассказывает он об этом, чтобы показать, как действовала в нем врожденная любовь ко греху, к воровству ради сладости воровства. В семье юного отца Западной Церкви сад был гораздо лучше, и груши там росли гораздо вкуснее, чем те зеленые и чужие. Этот грех, помимо прочих, он считал чуть ли не главным в жизни, я же, вспоминая о своем воровстве, признаюсь, так и до сих пор не нахожу в себе такого раскаяния. Летом, когда темнело, чтобы не заметили, я, было дело, пробирался в сад, собирая с кустов клубнику, ягоды которой иногда были покрыты землей, или рвал их с кустов черной или красной смородины, но особенно малины, вкуснейшей ягоды на свете, но иной раз и недозрелой, ведь в сумерках не разглядишь, наскоро поедая их, получая иной раз от мачехи справедливое, хотя и незлое, негневное замечание. С недоумением глядел я на единокровного братца, семью годами моложе, которому это было совершенно неинтересно, он и с тарелки-то доедал не до конца, словно уже родился насыщенным всеми благами земными, не постигая, как это упоительно сорвать что-то вкусное и без спроса в собственном саду. А глоток вина, тайком выпитый из отцовского графинчика, ждавшего там взрослых гостей; подростки давних тринадцати лет, признайтесь, что вы никогда не пили ничего пьянее и упоительней!

«Пошли мне сад на старость лет!» – иногда по слабости душевной восклицаю вместе с Цветаевой. Нет, сада в моей жизни не было, и ни на каком горизонте он не предвидится. Мой отец не принадлежал к настоящей элите, карьеры особой не сделал, но к концу жизни, имея тот набор благ, которых не имели другие (казенную дачу, автомобиль, в 50-е годы даже с шофером, отдельную двухкомнатную квартиру, когда почти все жили в коммуналках, как и я, с тиранами соседями за стеной), мог относить себя к привилегированному классу. Институт Мировой Литературы, где он работал, подарил ему две ученых степени: кандидата и доктора наук просто так, задаром, по совокупности заслуг, без всякой бюрократической суеты и защи-

ты диссертаций. У него был достаточно вольный образ жизни, на присутственные дни в Институте он ездил раз в неделю, да и то всего лишь на пару часов. Сейчас, конечно, иные критерии благополучия. Меня же Господь вознаграждал другим даром: ощущением свободы. Мир-режим ловил меня с первых сознательных лет, скажу, перефразируя Григория Сковороду, но не поймал. Мне не приходилось проходить через это страшное саморастаптывание, как отцу в 30-м году, ни выступать на «пастернаковских» собраниях, как в 58-м, ни тратить силы на ремесленные труды. Исключаю, впрочем, переводы, коих произвел десятка два томов.

Все конечное упирается в бесконечное, предельное граничит с беспредельным, бессловесное оседает в некоей весте для «имеющих уши». Я думаю – вопреки отцу-конструктивисту, – что поэзия существует не для производства готовых смыслов, но прежде всего для таких вестей. Однажды я нашел в библиотеке отца томик Леопарди, и в моей памяти навсегда остался его взгляд, брошенный в *l'infinito*, бесконечное, которое с пустынного холма его отеческого дома в Реканати открывалось за терном, лугом, ветром, шевелившим заросли, за тем, «как помысл в неизмеримости плывет и тонет, и сладостно тонуть мне в этом море...» (пер. Вяч. Иванова). «Мое море» потом легко влилось в ощущение встреченного мной Христа, незримо присутствующего повсюду в мире. Вера в Творца омывает в моей памяти эту малую родину с лесом, с садом, с ягодами, с тем, что было сотворено для меня, услышано, собрано для того, чтобы, если позволит Господь, взять с собой и на родину небесную. И глоток вина не забыть. «Говорю вам, все изменится», – предрекает ап. Павел. Изменится, да, но, очистившись, до неузнаваемости преобразившись, все же не до конца сотрется.

Милость, не справедливость

Оглянувшись, вижу, что столько написал об отце, не сказав ничего, каким он был вблизи. А вблизи с ним было легко. Я бы сказал, просто и празднично. Он был всегда хорошо настроен, бодр, неизменно приветлив, шутлив, ласков, никогда не раздражен, щедр, жалостлив. Всегда кому-то помогал. Не проходил мимо нищего, не подав ему не завалящую копейку, а рубль (не сегодняшней, а тот прежний, рубль всерьез). Когда в 30-х годах дочь стиховеда Александра Квятковского умерла от менингита, ей нужно было приобрести дорогое лекарство и он обходил знакомых писателей с протянутой рукой, не помог никто, кроме Корнелия Зелинского, далеко не самого состоятельного. Лекарство, увы, не подействовало, девочка умерла. Узнал я об этом от матери через много лет после ее развода с отцом, сам он никогда не вспоминал о таких вещах.

Вообще он всегда кому-то помогал: старшему сыну, давно взрослому, его матери, сестре, ее сыну Люциану, его племяннику, да и не только им... О сестре, Тамаре Люциановне Зелинской, скажу отдельно: второй муж ее, Михаил Александрович Танин, секретарь в аппарате Хрущева, когда тот руководил Московским комитетом партии, в 1937 году был вычищен, т.е. арестован и расстрелян. Арест, по нравам того времени, не миновал и жену, она отбыла восемь лет в АЛЖИРе (Акмолинском лагере жен изменников родины), о чем впоследствии оставила мемуары, они

и по сей день должны храниться в РГАЛИ*. Отец ездил к ней в лагерь, хлопотал о прописке в Москве, еще до волны реабилитаций, писал вместе с ней Хрущеву. Это было тяжелое время для всех, а для обремененных судимостями втройне. Помню, в начале 50-х, до меня, подростка, все время долетали разговоры отца с женой: надо помочь Тамаре, надо перевести деньги, туда-то необходимо съездить, найти врача. Под конец жизни Тамара Люциановна стала истовой православной христианкой, и отец не считал это блажью, уважая ее за это. О помощи Волошину никогда не слышал**. Видно, таких эпизодов было множество, отец не держал их в памяти и о них не вспоминал.

Не только родная сестра, был еще такой Павел Карлович Груббе, дальний-предальний родственник, обрусевший немец, за таковую провинность в начале войны уже в пожилых годах сосланный в Джезказган. После ссылки в конце 50-х годов, совершенно бездомный, одинокий, неустроенный, никому не нужный, уже с лишком 80-летний, был приглашен отцом пожить у него на даче, занимая комнату Екатерины Владимировны и сына Саши. Дача была любимым обиталищем отца, но чтобы приютить старика, отцу пришлось переехать года на два в московскую квартиру. Павел Карлович был глуховат; и когда я, случалось, приезжал на дачу, он открывал мне дверь, уходил в свою комнату, а я потом тайно проводил друзей, ожидавших снаружи, в отцовский кабинет, где мы под портретом Короленко устраивали наши сходки. Даже и с острой политической начинкой. Дача была невелика; кроме кабинета, там была лишь проходная комната, где обычно спал я, когда приезжал, и комната брата и мачехи, где и обитал Павел Карлович. Потом, кажется, отцу удалось выхлопотать для него какое-то скромное жилище.

И еще отец умел хорошо болеть. Болеть – как посторонний своей болезни. К приступам тахикардии, которые случались регулярно, он относился как к чему-то обыденному, почти не обращал внимания. Когда ему было лет 65, он сломал шейку бедра; для того, чтобы она срослась, ногу протыкали иглой и так лежать надо было долгими неделями. Но по-разному можно лежать, по-разному переносить боль. Отец умел переносить ее так, возможно, не самую сильную, словно она не имела к нему никакого отношения. Он не то чтобы не жаловался, он был просто вне этого, как всегда шутил, как всегда был весел.

Теперь, будучи уже старше его, все настойчивей чувствую, что связь с отцом уходит в какую-то память, не такую, которую можно заключить в образ, раскопать воспоминаниями, разделив бывшее и небывшее. Это глубина того, чего еще не было, что еще не открыто в замысле Божиим о нас. Не имею никакой охоты судить, хотя здесь может показаться, что на самом деле сужу и лукавствую. Сужу и самого себя, ибо слишком обвязан тросами того времени, подобной зависимости уже нет у тех, кто помоложе. Даже у брата. Осознаю это противостояние как свою границу, которую не могу перешагнуть. Да я и не должен ее перешагивать. Ибо – необъяснимо – мы помещаемся в едином Промысле о нас. И себя, священника, который хочет быть христианином, вижу идущим по-своему вослед отцу, несущим его наслед-

* Российский государственный архив литературы и искусства (Москва). (Прим. ВС.)

** Зелинский поддержал Максимилиана Волошина, когда тот находился в тяжелейшем материальном положении (см. об этом: Купченко В. П. Странствие Максимилиана Волошина. Документальное повествование. – СПб.: Логос, 1997). (Прим. ВС.)

ство, его ненастье. За все – его и свои – падения, за все пути, проложенные нами мимо Христа и вопреки Ему, который ждал и всегда ждет, за обольщения утопией, за добровольную сдачу на милость призраку (а он не помиловал), за ревностное служение мифу, за Пастернака, за Цветаеву, за романы-измены, да мало за что еще тайное от людей, а перед очами Божиими все наго, ничто не стерто, – у меня вырывается спонтанный вопль: *Отче! Согрешил на небо и перед Тобою и уже недостойн называться сыном Твоим! Прими меня, нас обоих в числе своих наёмников!*

Тому, кто никогда не слышал этих евангельских слов, не знает их смысла, все это покажется сентиментальным бредом. А тот, кто помнит, не нуждается в ссылке. И пока живу, что-то я должен для отца, ибо все то, что осталось незавершенным, неисправленным, неискупленным в нем, должно во мне завершиться. *Почитай отца твоего и мать твою...* Почитай покаянием, почитай молитвой, почитай любовью. Сыновнее почитание стучится в дверь непостижимой милости Божией – а вдруг откроют? Милость – не справедливость, которая понятна, логична и беспощадна, милость не может уместиться в общих словах, которые отделяют овец от козлиц, она не соизмерима с нашим разумом, не имеет ни канона, ни того дна, до которого можно достать мыслью. Да, конечно, у милости по церковным понятиям есть свои правила, но есть у нее и территория, которая не вмещается в отмеренные, осмысленные нами границы. Она – как Покров, укрывает против ожиданий, против не знающей любви логики. Поминаю отца ежедневно, и когда служу, за литургией, вместе с матерью, тоже атеисткой, вместе со столькими христианами, святыми людьми, вместе с мученицей Мариной, с преподобномученицей Марией Парижской. Не смею просить ни о чем, но чувствую, что отсечение родителей было бы для меня непослушанием воле Божией. Ибо за неизменной справедливостью правил скрыто – безо всякого спора между ними – тепло ладони Божией, на которой все мы можем уместиться.

23 сентября 2020 года

Литературные страницы *Вадима МУРАТХАНОВА*

Светлый футболист

Искусство как понятие определяют по-разному. Откроем, например, «Большой толковый словарь» под редакцией С. Кузнецова. «Творческое воспроизведение действительности в художественных образах», «отрасль практической деятельности с присущей ей системой приемов и методов»...

При слове «искусство» мне в первую очередь видится органист-виртуоз в гулком соборе. Связь между быстрыми умными пальцами и раскатами органа умозрительна и неуместима в непосредственное восприятие. В результате непостижимого до конца процесса совершаемое человеком действие отделяется от его тела и разума, перерастает его и начинает жить своей жизнью.

Уникальная пластика Леонида Енгибарова, позволявшая миму одним своим телом создавать многоголосые и многокрасочные спектакли на пустом пространстве арены. Неповторимый тембр Владимира Высоцкого, отменяющий классические представления о пении и выворачивающий слушателя наизнанку. Яркие, контрастные до боли миры визионера Медата Кагарова, не умевшего и не хотевшего объяснять свои космические полотна человеческим языком.

Все это примеры чуда, для достижения которого художнику достаточно подчас простых, незатейливых предметов.

Например, кожаного мяча.

Такого же, какой день напролет гоняют мальчишки на дворовой площадке.

Федора Черенкова любили именно за эту прямую связь между пыльной народной игрой и виртуозностью. Щуплый, невысокий человек преображался на футбольном поле и начинал творить на глазах у тысяч болельщиков, изумляя не только их, но и соперников, а иногда и партнеров нестандартными, неочевидными, но оптимальными ходами и решениями, потрясающими по расчетливости ударами и пасами. Это был дворовый футбол, развившийся до масштабов мистерии, превосходящий и посрамляющий стандартное мастерство, которому обучали в спортивных школах и интернатах.

Многие любители футбола, наблюдавшие воочию за этими импровизированными спектаклями, никогда не ходили в филармонию, на балет или в музей, не зачитывались Толстым и Достоевским. Черенков был для них едва ли не единственным выходом в мир искусства. Этим, должно быть, и объясняется любовь к нему советского, а затем и постсоветского болельщика, не зависевшая от клубных пристрастий. На Черенкова ходили – как на Ефремова в «Современник» и на Леонова в Ленком. Так же, как за двадцать лет до него ходили болельщики на Стрельцова и Яшина.

Федор Федорович обладал даром видеть происходящее на поле объемно, как будто он находился одновременно и на зеленой плоскости газона, и на втором ярусе футбольной трибуны, и предугадывать будущее на несколько секунд вперед. А за дар, как известно, приходится платить. Недоволенностью в земной жизни, разочарованиями, болезнью... Игорь Рабинер и Владимир Галедин написали книгу о всенародно любимом мастере*. О легкости, которой он делился со зрителем, и тяжести, которую нес на плечах за пределами футбольного поля. Перед читателем – не просто гениальный игрок, но и редкий по душевной хрупкости человек, едва ли представимый в современном медийном пространстве.

Черенков был не просто хорошим, а светлым человеком. Не от сего мира, который мы видим вокруг себя во втором десятилетии XXI века. <...> Вот типичный монолог Черенкова, который после окончания карьеры футболиста жил очень скромно: «В жизни меня все устраивает, всего хватает. Стараюсь работать над собой, избавляться от грехов – к примеру, уныния...».

Всех близких и знакомых Черенкова поражала его отзывчивость и бескорыстность. Удачам партнеров он радовался больше, чем собственным, и большее удовольствие испытывал от своих голевых передач, чем от голов. Ни в одном из своих интервью не обидел случайным, неосторожным словом никого из одноклубников и соперников. И вообще говорил мало, любил оставаться в тени. Но в трудную минуту всегда помогал друзьям и товарищам по команде советом, словами утешения и поддержки.

Партнеры по «Спартаку» на выездах старались не выпускать Федора из вагона первым – он тут же начинал раздавать нищим на перроне свою одежду и деньги.

Характерен описанный авторами книги случай:

...Олег Кошелев, корреспондент ТАСС, припомнил эпизод, случившийся в 2007 году. Он тогда с сыном подъезжал на машине к стадиону имени Нетто. Глядь – Черенков туда же продвигается. Пешком.

Вдруг Федор голосует. И просит – так вышло – как раз Олега остановиться. В чем дело? Оказывается, старушку нужно обратно к метро довести. Плохо бабушке.

Чьей? Ничьей. Московской. Или киевской, ереванской, тбилисской. Нет разницы. Но дело в Белокаменной происходило. Большой мастер Черенков не мог по-другому. И отвезли ведь, старенькую! Хотя большинство прошло мимо, не обращая на нее внимания.

А Федя – не мог. И не только посадил бабушку в машину, но и сам поехал вместе с ней – хотя до начала игры оставалось всего ничего. Зато какие счастливые возвращались на той же машине и Кошелев с наследником, и, понятно, Черенков!

Так и хочется вздохнуть: «князь Федор».

Закономерным видится воцерковление Черенкова, его отъезд в монастырь под Иваново, где он некоторое время подвизался трудником на строительстве храма.

* Рабинер И.Я., Галедин В.И. Федор Черенков. – М.: Молодая гвардия, 2019. – (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1792).

То, что Федор был верующим, ни для кого секретом не является. Когда он к вере пришел? Видимо, после окончания игровой карьеры. <...> Федор с братом неоднократно посещали монастырь... Здесь их встречали необычайно тепло и душевно. А монахи Питирим и Феофан оказались отменными знатоками футбола и к тому же горячими поклонниками творчества Черенкова.

...Мне довелось видеть Черенкова на поле только однажды – в 1991 году на стадионе «Пахтакор». Это был «проходной спектакль», какие бывают и у великих артистов, особенно когда они сильно зависят от партнеров.

Гораздо больше запомнилась картинка с телеэкрана. Московский «Спартак» играет с «Металлистом». Немолодой уже по футбольным меркам Черенков подхватывает мяч на фланге у своей штрафной и неспешной трусцой бежит к чужим воротам. Харьковские атлеты по одному и по двое накатывают на него, как волны прибоя, но он, пробираясь сквозь мышечную массу, на той же скорости бежит и бежит с мячом вдоль бровки, вопреки законам физики и здравому смыслу.

Впоследствии, с появлением интернета, я несколько раз пытался найти видео этой игры в Сети – тщетно. Она бесследно растворилась во времени, как и многие другие жемчужины черенковского футбола. Как любимовский «Гамлет», так и не попавший на видео.

Еще один шанс посмотреть игру Черенкова вживую возник в 2014-м, за пару месяцев до его ухода из жизни. Он должен был сыграть за ветеранов на открытии нового спартаковского стадиона в Тушино. Мой друг раздобыл через знакомого два пригласительных, но Черенкова на поле мы так и не увидели. Из книги Рабинера и Галедина я узнал, что по дороге на стадион Черенков заехал в магазин, а потом не смог найти место, где оставил свою машину.

Авторы сравнивают героя своей книги с князем Федором – эпизодическим персонажем «Войны и мира». Но, наверное, не только у меня возникает другая ассоциация: князь Мышкин, «Идиот». Герой Достоевского реагирует на чужую боль и душевное неустройство своим психическим состоянием. 25-летний Черенков после неудачно проведенного матча переживает нервный срыв и попадает в психиатрическую клинику. С этого момента закадровая жизнь любимца миллионов делится на две части: несколько месяцев в году он проводит в стенах лечебницы, чтобы потом, мучительно набирая форму, вновь возвращаться на поле.

Черенков принимал болезнь стоически:

«Если болезнь мне дана, то дана для чего-то. Ничего случайного не бывает. И я должен пережить ее – и никогда уже не отходить от заповедей Божьих. И всегда помнить, что добро облагораживает, а зло уничтожает».

Болезнь помешала Федору Черенкову в полной мере проявить себя на международной арене – он пропустил крупнейшие турниры, на которых выступала сборная страны, – и серебро чемпионата Европы 1988 года, и олимпийское золото Сеула... И навсегда остался звездой нашего внутреннего космоса. Как Пушкин. Рязанов. Гребенщиков.

АВТОРЫ НОМЕРА

ДОРОФЕЕВ Роман – религиовед, магистр религиоведения. Автор исследований по истории православия и других религий в Средней Азии. Проректор Ташкентской духовной семинарии. Живет в Ташкенте.

Прот. Владимир ЗЕЛИНСКИЙ – настоятель православного прихода «Всех скорбящих радость» в г. Брешия (Италия). Религиозный писатель, публицист, переводчик. В 1970-е годы участвовал в православном правозащитном движении; во второй половине 1980-х – в создании московского самиздатского журнала «Выбор» и в работе группы «Церковь и перестройка». Автор многочисленных трудов по истории и философии христианства. Живет в г. Брешия.

ЗУБАРЕВА Вера – поэт, прозаик. Преподает в Пенсильванском университете. Автор 20 книг поэзии, прозы и литературной критики на русском и английском языках. Лауреат премии имени Беллы Ахмадулиной и других. Главный редактор журнала «Гостиная». Живет в г. Филадельфия (США).

КОТЮКОВА Татьяна – историк, кандидат исторических наук, доцент, заведующая сектором истории Центральной Азии XIX–XX веков Института всеобщей истории Российской Академии Наук, старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам Российской Академии Наук. Живет в Москве.

Иерей Александр КОЛОТОВКИН – настоятель храма Сретения Господня г. Бекабада, преподаватель Ташкентской духовной семинарии. Живет в Ташкенте.

Иерей Сергей КРУГЛОВ – клирик Спасского кафедрального собора г. Минусинска (Россия). Поэт, публицист. Автор восьми книг стихов. Лауреат премии Андрея Белого, премии «Московский счет» и других. Живет в Минусинске.

МАКЕЕВА Инна (1938–2008) – математик, преподавала на кафедре математики Ташкентского технического университета. Была прихожанкой ташкентского Свято-Успенского кафедрального собора.

МУРАТХАНОВ Вадим – поэт, прозаик, критик. Автор пяти книг стихов. Публиковался в журналах «Арион», «Дружба народов», «Звезда Востока», «Октябрь» и др. Лауреат поэтической премии «Московский счет». Живет в Подмосковье.

Протоиерей Сергей СТАЦЕНКО – настоятель храма Александра Невского в Ташкенте, проректор Ташкентской духовной семинарии, руководитель просветительского отдела Ташкентской и Узбекистанской епархии. Живет в Ташкенте.

Иеромонах Михаил (СТОЛЯРОВ) – журналист, пресс-секретарь Ташкентской и Узбекистанской епархии. Живет в Ташкенте.

Содержание журнала «Восток Свыше» за 2020 год

СТИХОТВОРНЫЙ КАМЕРТОН

Ганна ШЕВЧЕНКО. «На окне засыхает фиалка...» – № 1 (LII). С. 5

Артем СЕРЕБРЕННИКОВ. Константинопольский собор, 1593. – № 2 (LIII). С. 5.

Инна МАКЕЕВА. Хождение по водам. – № 3-4 (LIV). С. 5.

СООБЩЕНИЯ. СОБЫТИЯ. ДАТЫ

Календарные страницы *главного редактора*

Непорочные в пути. 1175 лет перенесения мощей преподобного Феодора, игумена Студийского (26 января 845 года). – № 1 (LII). С. 6-15.

Предпоследний римлянин. 1600 лет преставления преподобного Иеронима Блаженного, Стридонского (15 июня ок. 420 года). – № 2 (LIII). С. 6-14.

Действо любви. 500 лет преставления преподобной Ангелины, деспотисы Сербской (30 июля около 1520 года). – № 3-4 (LIV). С. 6-13.

Новостные страницы *иеромонаха Михаила (СТОЛЯРОВА)*

Митрополит Омский и Таврический ВЛАДИМИР (ИКИМ). Слово в день почитания Иверской иконы Божией Матери. – № 1 (LII). С. 16-20.

Итоги 2020 года: до строгого карантина, во время и после. – № 3-4 (LIV). С. 14-18.

Тема: Пандемия коронавируса и церковная жизнь

«Не выискивать гонений на Церковь там, где их нет». Авторы и читатели «Востока Свыше» о пандемии, карантине и тех возможностях, которые они дают верующим. – № 2 (LIII). С. 15-22.

«Господь дает возможность людям остановиться и задуматься». Голоса верующих. – № 2 (LIII). С. 23-29.

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ В СРЕДНЕЙ АЗИИ

Александр ГАЛАК, Елена ЛАРИНА. Свято-Николаевская железнодорожная церковь Самарканда. – № 1 (LII). С. 21-31.

«Антирелигиозная пропаганда, которая ведется сейчас с целью разрушения нашей Церкви...» Проповеди архиепископа Ермогена (Голубева). Публикация, предисловие и примечания Евгения Абдуллаева. – № 1 (LII). С. 32-53.

Александр ГАЛАК. «Достойный энергичный пастырь...» Протоиерей Владимир Невоструев и его время. – № 2 (LIII). С. 30-38.

Тема: Протоиерей Михаил Котляров (1938-2019)

«Компрометирующими материалами на Котлярова Михаила Иосифовича не располагаем...» Об одном эпизоде из жизни протоиерея Михаила Котлярова / Публикация и комментарии Евгения Абдуллаева. – № 2 (LIII). С. 39-46.

«Как он умел радоваться...» Воспоминания о протоиерее Михаиле Котлярове. – № 2 (LIII). С. 47-53.

ПРАВОСЛАВИЕ: МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ

Роман ДОРОФЕЕВ. Кем был по вере Афанасий Никитин? – № 3-4 (LIV). С. 19-24.

ТУРКЕСТАНОВЕДЕНИЕ

Тема: История образования и науки в Туркестане

Юрий ФЛЫГИН. «...Тщательный надзор за преподавателями и учащимися...» – № 2 (LIII). С. 54-59.

Даниил МЕЛЕНТЬЕВ. Университетский проект в контексте советской модернизации Туркестана (1917-1924). – № 2 (LIII). С. 60-70.

Георгий НИКИТЕНКО. Туркестанская экспедиция Эрнста Кон-Винера. – № 2 (LIII). С. 71-86.

Александр ДЖУМАЕВ. Заговорившие фотографии: Абдурауф Фитрат и Бухарская Республика в 1923–1924 годы. – № 1 (LII). С. 54-60.

Михаил ГОЛУБОВСКИЙ-СОЛОВЬЕВ. Огненный вал / Публикация, предисловие и примечания Михаила Талалая. – № 2 (LIII). С. 87-102.

«...Прежде чем учить народ, нужно самому у него поучиться». Неопубликованные воспоминания о Владимире Наливкине / Публикация, предисловие и комментарии Татьяны Котюковой. – № 3-4 (LIV). С. 25-29.

СОБЕСЕДНИК

Юрий Флыгин: «Хотелось бы, чтобы более бережно относились к историческому наследию...». – № 2 (LIII). С. 103-107.

ЛУГ ДУХОВНЫЙ

О смерти и бессмертии. – № 1 (LII). С. 61-63.

Почему не надо бояться кладбища? – № 1 (LII). С. 64-70.

О терпении. О тщеславии. – № 3-4 (LIV). С. 113-116.

Тема: Современные неопротестанты

Александр ДВОРКИН. «Сектантство искоренить нельзя, но ограничить сферу его действия возможно» – № 1 (LII). С. 71-78.

Роман ДОРОФЕЕВ. Евангельские христиане Душанбе. Страницы полевых исследований 2006 года – № 1 (LII). С. 79-89.

Иерей Александр КОЛОТОВКИН. Таинства Церкви: Миропомазание. – № 3-4 (LIV). С. 117-120.

Евангельские страницы протоиерея *Сергия СТАЦЕНКО*

О непрестанной радости. – № 3-4 (LIV). С. 121-125.

Иерей Сергей КРУГЛОВ. «Царство Божие – здесь». Избранные записи в Фейсбуке последних лет. – № 1 (LII). С. 90-104; № 2 (LIII). С. 111-124; № 3-4 (LIV). С. 126-143.

ПРОЗА

Андрей ФЁДОРОВ. Кот. Рассказ. – № 2 (LIII). С. 108-110.

Ольга ФРИБЕС (И.А. ДАНИЛОВ). В тихой пристани / Публикация, предисловие и примечания Евгения Абдуллаева. – № 3-4 (LIV). С. 30-112.

ИСКУССТВО ПАМЯТИ

Прот. Владимир ЗЕЛИНСКИЙ. Разговор с отцом (главы из книги). – № 3-4 (LIV). С. 151-167.

ОБЩЕСТВО. ЛИТЕРАТУРА. ИСКУССТВО

Тема: Поэзия и Вера

«Речь поэта различима в любом хаосе...» На вопросы ВС отвечает поэт *Дмитрий СТРОЦЕВ.* – № 1 (LII). С. 105-112.

«...Мы находимся по другую сторону галактики». На вопросы ВС отвечает поэт и прозаик *Николай БАЙТОВ.* – № 2 (LIII). С. 125-136.

«Тонкие материи требуют другой пристальности». На вопросы ВС отвечает поэт *Вера ЗУБАРЕВА.* – № 3-4 (LIV). С. 144-150.

Литературные страницы *Вадима МУРАТХАНОВА*

Чем тише, тем вернее. – № 1 (LII). С. 113-115.

Документы внутренней свободы. – № 2 (LIII). С. 137-141.

Светлый футболист. – № 3-4 (LIV). С. 168-170.

Тема: Религиозные поиски в русской литературе начала XIX века

«Атеизм есть великое и жестокое наказание для атеиста...» Выписки из «Лицейского словаря» Кюхельбекера / Публикация, предисловие и примечания Евгения Абдуллаева. – № 1 (LII). С. 116-126.

Глеб ШУЛЬПЯКОВ. В Тверь, в Тверь, в Тверь. Глава из новой книги о К. Батюшкове. – № 1 (LII). С. 127-130.

Тема: Православие и спорт

Александра БАТУРА-СМОРЖЕВСКАЯ. Спорт и катехизация молодежи. – № 1 (LII). С. 131-136.

Александр ГОНАШВИЛИ. Физическая культура в жизни православного христианина: социологическое измерение. – № 1 (LII). С. 137-140.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

Журнал «Восток Свыше» принимает к рассмотрению на предмет публикации материалы (статьи, эссе, воспоминания, художественную прозу, архивные документы) по следующим темам: история Православной церкви (в целом и в Средней Азии в частности); Православие в современном мире; Православие и Ислам в межрелигиозном и межкультурном диалоге; история, культура, этнография Средней Азии.

Материалы принимаются в электронном виде (в формате Microsoft Word) по адресу: vostok_svshe@mail.ru.

Поскольку в штате редакции не предусмотрен оператор компьютерного набора, материалы в виде рукописи принимаются только в особых случаях в порядке исключения.

Проверка редакционной почты — каждый понедельник. Редакция высылает на указанный автором электронный адрес краткое уведомление о получении рукописи. В течение двух недель с момента отправки уведомления автору отправляется второе письмо — о принятии материала к публикации либо об отказе.

Все материалы, поступающие в редакцию, проходят экспертизу с целью исключения плагиата.

Редакция также не принимает к публикации прежде опубликованные тексты (в печатных изданиях или интернете); исключение может быть сделано только для материалов, существенно переработанных (например, снабженных новыми комментариями или примечаниями).

В некоторых случаях редакция может обратиться к членам редакционного совета для внутреннего отзыва. Присланные материалы не рецензируются; материалы, полученные в виде рукописи, не возвращаются.

В случае отказа в письме указывается его основная причина; редакция оставляет за собой право не вступать в дальнейшие письменные или устные переговоры с автором отклоненного материала.

В отдельных случаях редакция может предложить автору доработать материал (сократить, дополнить и т.д.) либо принять сокращения, предлагаемые ею.

После редактуры и корректуры автору высылается последняя версия материала на утверждение. Автор в течение не более пяти календарных дней знакомится с этой версией и присылает в редакцию письменное подтверждение и (или) версию с последней авторской правкой, выделенной цветом.

В случае неполучения ответа редакция оставляет за собой право опубликовать материал без подтверждения.

Гонорары авторам не выплачиваются; предоставляется один авторский экземпляр журнала. Иногородним или зарубежным авторам авторский экземпляр передается с оказией или высылается по почте.

Номера «Востока Свыше» реализуются в церковных лавках при православных приходах Узбекистана. Полная электронная версия журнала (PDF) доступна на официальном сайте Ташкентской и Узбекистанской епархии (http://pravoslavie.uz/archdiocese/departament_diocese/ePress/Easter/Archive/index.php); электронная версия каждого номера выкладывается не ранее, чем через три месяца после выхода тиража журнала (и не позднее выхода из типографии следующего номера).

Требования по оформлению статей

Шрифт Times New Roman, кегль в основном тексте – 12, в сносках – 11. Междустрочный интервал одинарный.

Буква «ё» используется только в тех случаях, когда замена на «е» недопустима (например, в фамилиях); во всех остальных случаях – только «е».

Годы обозначаются арабскими цифрами, а не словом (например, «в 1960-е годы», а не «в шестидесятые годы»). Века обозначаются римскими цифрами. Слова «год», «век» и их производные пишутся полностью; в сносках могут сокращаться («г.», «в.»).

Для выделения цитат используются кавычки-елочки («...»). Если внутри цитаты имеются заковыченные слова, они помещаются в кавычки-лапки ("..."). Пропуски в середине цитат отмечаются многоточием в угловых скобках (<...>), в начале и в конце – многоточием.

Цитаты из Священного Писания Ветхого и Нового Завета приводятся в Синодальном переводе; ссылки на них состоят из сокращенного обозначения в круглых скобках библейских книг и указаний на главы и стихи. Пример: (Мф. 5, 47); (Мк. 2, 5-7).

Указания на другие использованные источники приводятся после цитаты или упоминания в виде концевой сноски. Знак сноски (¹, ², ³ и т.д.) ставится перед знаком препинания (точки, запятой, точки с запятой), кроме многоточия.

Сноски оформляются следующим образом:

Для цитаты из книги:

Успенский Л. Богословие иконы Православной Церкви. – Переславль: Изд-во братства во имя св. князя Александра Невского. 1997. С. 104.

Для цитаты из статьи в журнале:

Веселовский Н.И. Новые материалы для истории Кокандского ханства // Журнал Министерства народного просвещения. 1886. Ч. 248. С. 175.

Для цитаты из статьи в газете:

Алексеев В. Житие отца Василия // Комсомолец Узбекистана, 2 марта 1966 г. С. 3.

Для цитаты из собрания сочинений:

Бунин И.А. Из записей // Бунин И.А. Собр. соч. в 9 тт. Т. 9. – М.: Художественная литература, 1967. С. 288–289.

Для цитаты из сборника статей:

Флыгин Ю.С. Туркестанский восемнадцатый год. Своеобразие конфессиональной ситуации // I Пасхальные чтения. Традиции дружбы народов России и Средней Азии на протяжении веков. Сб. мат. – Бишкек, 2013. С. 106.

Харджиев Н.И. Неизданная книга Маяковского «Для первого знакомства» // Харджиев Н.И. Статьи об авангарде. В 2 тт. Т. 2. – М.: РА, 1997. С. 150.

Для цитаты из изданной за рубежом книги:

Bardaisan. Book of the Laws. Ed. H.J.W. Drijvers. – Assen: Van Gorcum, 1965. P. 61.

Для цитаты из архивного источника:

Архив Ташкентской и Узбекистанской епархии (АТУЕ). Оп. 2. Д. 15. Л. 4.

Государственный архив города Ташкента (ГАГТ). Ф. 30. Оп. 1. Д. 315. Л. 21об.

Для цитаты из Интернет-источника:

Никольская Т.М. Иконописный образ, его семантика и символика // Аналитика культурологии. 2011, № 1 (19) (URL: www.analiculturolog.ru/journal/archive/item/670-icon-painting-the-image-of-his-semantics-and-symbols.htm)

Восток Свыше

Духовный, литературно-исторический журнал
Выпуск LIV
№ 3-4, 2020, июль-декабрь

Главный редактор **Евгений Абдуллаев**
Литературный редактор **Лейла Шахназарова**
Верстка и дизайн **Александра Аносова**

Журнал зарегистрирован в Агентстве печати и информации Республики Узбекистан
Reg. № 02-15

Подписано в печать . . .2021 г.
Печать офсетная. Формат 60x84¹/₈. Тираж 1000.
Заказ № (от . . .2021).

Адрес редакции: Ташкент, 3-й тупик Азимова, 22.
Телефон 233-33-21.

Отпечатано в ИПК «GLOSSA»
100015, г. Ташкент, ул. Авлиё-Ота, 93.

www.pravoslavie.uz

ISSN 2010-5568